

Надежда Чернова



ТАЙНЫЙ РОМАН

...Костры, как и полагается кострам, сгорали и рассеивались пеплом. И когда я оборачиваюсь на мою судьбу, то ясно вижу, что через всю мою жизнь и по пятам этого пепла проходят две женщины, не опалённые и всегда живые, – Ирина и Ты. И как-то только с Тобой и Ириной и связывается, и вспоминается эта жизнь. Только два ваших образа оказываются слитыми понятиями жена-любовница-друг, то есть самый близкий, самый любимый и необходимый человек на свете...

*Юрий Софиев, из письма к Елене Люц.
Алма-Ата – Медон, 1966 г.*

ПРОЛОГ

Это повествование об известном в русском зарубежье поэте Юрии Софиеве, о его жизни, творчестве и любви. Во время Гражданской войны, с остатками Добровольческой армии оказавшись сначала в Галиполи (Турция), потом в Югославии, а затем во Франции, он, русский офицер белой армии, стал частью культурной эмиграции наряду с такими выдающимися личностями, как И. Бунин, А. Куприн, К. Бальмонт, М. Цветаева, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Б. Зайцев, И. Шмелёв, Г. Иванов, В. Ходасевич, Г. Адамович, Б. Поплавский, А. Ремизов, о. Сергей Булгаков, Мать Мария, философы Бердяев и Федотов, художник Билибин, профессор филологии Аничков, публицист и политический деятель П. Милюков, герой испанской войны и писатель Алексей Эйсер, герой французского Сопротивления, поэт и учёный, сотрудник Музея человека в Париже Борис Вильде (Дикой) и др. Ю. Софиев и сам участвовал в Сопротивлении: укрывал у себя евреев и советских военнопленных, переправляя их в безопасную зону. Он слушал Шалапина и видел балетные спектакли Дягилева. Переписывался с И. Эренбургом и Екатериной Пешковой – первой женой М. Горького, которая приходилась Ю. Софиеву родственницей. О многих оставил он воспоминания, написав и о Русском Париже 20–40-х, и о советской действительности 50–70-х.

Вернувшись на родину, двадцать лет Ю. Софиев прожил в Алма-Ате. Он с детства мечтал об этих краях, слушая рассказы своего дяди, который путешествовал по Туркестану, служил ветеринарным врачом в г. Верном.



Повествование моё основано на стихах, письмах, воспоминаниях современников Ю. Софиева и его близких, но это ещё и роман, потому кое-что мною додумано, художественно преображено, чтобы войти в отшумевшее время, оживить моих героев и вместе с ними прожить их жизнь.

«СИЛЬНЕЙ ВСЕГО БЫЛА ЛЮБОВЬ...»

...Елена стояла между колоннами храма рядом с каменными ангелами, балансируя, размахивая руками, вся пронизанная южным солнцем, молодая, как когда-то, давно, как всегда. Юрий любовался ею, и отмечал уже в который раз: до чего ж похожа на Ирину! И вздыхал печально: не Ирина... А вслух сказал:

– Ты как птица, залетевшая к ангелам!

Таких необычных птиц-ангелов писала на своих «живых иконах» сестра Иоанна (Юлия Николаевна Рейтлингер), духовная дочь о. Сергия Булгакова. Она расписывала церковку в Медоне. Помогала ей сестра Катя, которая специально для этого приехала на месяц из Праги, а также иконописцы Бреславская и Круг – в монастыре о. Григорий. Церковку св. Иоанна Воина перестроили из бывшего барака, обшили внутри картоном, и по этому картону писали – по эскизам сестры Иоанны.

Елена жила в Медоне. Юрий часто бывал там. Они совершали велосипедные прогулки по Медонскому лесу и непременно заходили в церковку св. Иоанна Воина. Елена молилась. Юрий больше созерцал «живые иконы», вспоминая детство, мать и бабушку, которые водили мальчиков в храм на Пасху – Юру и двух его братьев, Льва и Максимилиана. Он запомнил множество голубей в ослепительно синем весеннем небе и радостный перезвон колоколов по всему городу.

Церковка в Медоне была частью России. И у него сильно защемило сердце, а на глаза набежали слёзы, что случилось с ним редко. Он был всегда сдержан и даже суров в проявлении чувств, а тут... Ещё Елена так прекрасна, так кротка в молитве, так близка, так похожа на Ирину. Господи, когда уже Ирина отпустит его? Всё время она перед глазами... И тут же испугался: «Нет! Нет! Не отпускай!» Если отпустит – жизнь опустеет, жизнь потеряет смысл, ведь в Елене он ищет Ирину – надо это признать...

Наконец Елена последний раз поклонилась иконе Иоанна Предтечи, обернулась к Юрию и молча пошла из церкви. Велосипеды ярко блеснули спицами – солнце жарило вовсю и обещало знойный день.

Долго потом, уже на Родине, снилась Юрию эта скромная церковка в Медоне, которая постепенно исчезала вместе с русскими эмигрантами. Она разрушалась. Могли погибнуть и работы сестры Иоанны, но чудом были спасены и вывезены в Россию. Часть из них я видела в Москве, на выставке библиотеки-фонда «Русское зарубежье», созданной Солженицыным.

На склоне жизни судьба снова свела Юрия Софиева с сестрой Иоанной. Она тоже вернулась на Родину и поселилась в Ташкенте – совсем недалеко от Алматы, где жил Юрий Софиев. В его архиве сохранилось несколько коротеньких писем от Ю. Н. Рейтлингер.

Уже почти слепая, продолжала сестра Иоанна создавать иконы. Жила в нищете. Не было денег на материал для работы, и она загрунтовывала прессованный картон зубным порошком. И оживали на нём сцены Апокалипсиса, рая, Страшного суда, лики святых, яркие краски библейских сюжетов.

Когда жила во Франции, Юлия Рейтлингер много писала о Сергия Булгакова, за которым следовала повсюду. С него написан образ Иоанна Предтечи – самого любимого среди христианских образов художницы. В честь него избрала она себе и новое имя – Иоанна, отрешившись от мирских сует.

Часто уходила в поля, писала с натуры травы, птиц и животных, потом переносила на свои иконы, потому они у неё стали «живыми». Здесь следовала она размышлениям своего духовного отца, Сергия Булгакова, о преображении тварного мира. И всюду у неё – ангелы, крылатые серафимы, осиянные божественным светом.

Возможно, они и внушили Юрию это сравнение – с птицей, залетевшей к ангелам.

* * *

Кроме прогулок по Медонскому лесу Елена и Юрий в каникулярное время устраивали и дальние путешествия на велосипедах, забираясь в самые живописные уголки, ветром проносясь вдоль моря и горных хребтов, вылетая на острова, где дремала вековая история: башни бастионов в оспинах пуль, стрельчатые арки, разрисованные птичьим мелом, каменные стены, облепленные плющом и коричневым мхом, святые и ангелы в нишах соборов.

В одном из таких путешествий Юрий и сфотографировал Елену – между колоннами храма.

– Ты как птица, залетевшая к ангелам! – выдохнул восторженно. И печально подумал: «До чего ж похожа на Ирину... Но нет, не Ирина...» Они двоились в его воображении, то расходясь цветными кругами, то соединяясь в один яркий, ослепительный, солнечный круг. Круг любви.

* * *

Юрий смолоду любил такие путешествия, и, когда была жива Ирина, они с ней исколесили почти всю Францию, останавливаясь в маленьких городках со старинными замками, в сельских придорожных кафе, где пили свежий сидр, в поле – там всегда находился стог сена. Они валились в пахучие, увядающие травы, и наступала тишина. Тонко пели травяные насекомые, опоённые зноем и мёдом лета. Лёгкое небо сияло над раскатыстым полем. Ирина разбрасывала загорелые руки. Засыпала. По запястьям её ползла божья коровка. Он снимал её травинкой, переправлял в цветочные джунгли и счастливо зажмуривался. Это было счастье, потому что они были живы, они вместе. Он знал: дни их совместной жизни на земле отмерены, и ценил каждый миг с нею. Ирина смертельно больна. Но не хотелось думать об этом. Потом, потом! А сейчас – тишина, лето, счастье...

О приговоре её Юрий узнал ещё до того, как они поженились. Его предупредили, что Ирине нельзя иметь детей, что ей отпущено жизни лет десять, не больше, что он, женившись на ней, обрекает себя на мучительные страдания вместе с нею. Но он никого не хотел слушать. Он был возмущён словами её отца о своём благородстве: «Как он мог подумать, что я поступлю иначе?» Он женился на Ирине. Он венчался с нею. Она – под угрозой немедленной смерти – родила ему сына, которого медицина тут же окрестила «чудом доктора Лябе» – это был третий в мире здоровый ребёнок, рождённый диабетичкой, сидевшей на инсулине. Французский доктор Лябэ поддержал Ирину в её решимости рожать. Да её бы никто и не смог остановить!

Я брошу всё: стихи, слова и строки,
 Мечты о том, чего на свете нет,
 И матовый, встревоженный рассвет,
 Такой любимый и такой далёкий...
 Мне ничего не жаль. И я готова
 Закрыть навек заветную тетрадь,
 Чтоб больше никогда не открывать
 Дневник существования пустого,
 За тихое, коротенькое слово,
 За самое простое слово – мать...

(И. Кнорринг. Из тетради «Тебе», посвящение сыну)

Разве мог Юрий не любить её? Женившись, он понял утверждение Пушкина, что настоящая любовь возможна только в браке.

Прошло уже много лет. Ирины нет. Она умерла в оккупированном немцами Париже зимой 43-го года. Может, прожила бы ещё, если б не война, хотя... Что обижаться на судьбу? Судьба и так позволила ей задержаться на земле сверх положенного срока, установленного врачами. Любовь остановила смерть. Это была в их жизни самая главная и самая лучшая любовь. Он теперь знает точно. И навсегда имена их останутся рядом: Ирина Кнорринг и Юрий Софиев.

Помнит, как после похорон, после одинокого ветра над пустынным кладбищем Иври сидел он посреди гулкой столовой, всегда холодной. Топили экономно. Денег вечно не хватало. Он был один, и потому, всегда сдержанный и даже суровый, по-печорински ироничный на людях, теперь плакал, не стесняясь. Вдруг увидел сына. Мальчишка прятался за дверной портьерой. Сирота. Худой, бледненький, руки тонкие, а глаза, как у неё, – беззащитные. И такая жалость, такая любовь обожгли сердце, что он заплакал уже навзрыд, в голос...

Сын его рассказывал об этом спустя полвека:

«Это единственный раз в жизни, когда я отца видел плачущим. И тогда, и впоследствии, в мои зрелые годы, он несколько раз повторял, что моя мать была единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. И я этому верю...»

Были горе, горечь и обиды,
 Много дней я вспоминаю вновь,
 Но теперь нам из далёка видно,
 Что сильней всего была любовь!..

Так написал он о ней. И множество строк – тоже ей. Восхищённых, печальных, счастливых, благодарных, покаянных...

* * *

Можно сколько угодно осуждать его: мол, предал память жены, быстро нашёл себе других. Но кто мы, чтобы судить? Он овдовел в 44 года. Молодой ещё, полный сил и, добавим, красивый мужчина, поэт, известный в русском зарубежье.

Нет, Ирина никогда не уходила из его сердца, из памяти его и, как сам он признавался, из его снов. Но – появились другие женщины. И это естественно. Жизнь продолжалась. Одни оставались друзьями, некоторые – на долгие годы. Другие – интимными подружками на короткое время. Но были и более серьёзные

привязанности. И среди них – Прекрасная Елена. Елена Евгеньевна Люц. Гражданская жена его лучшего друга, тоже поэта, Виктора Мамченко. Да, драма...

Ох, уж эти любовные треугольники! Все не виноваты, потому что любят, и все – виноваты, потому что любят, потому что не властны над своим сердцем, и крадут чужое счастье, и невольно предают самых близких и дорогих, даже если любят тайно.

Елена писала стихи, состояла в активных членах Союза молодых русских писателей и поэтов Франции. Как литератора, её знали под девичьей фамилией Майер.

Для остроты сюжета великий драматург – Небесный Творец ввёл в действие ещё одну женщину, тоже замечательную и безнадежно влюбленную в нашего героя, Раису Николаевну Миллер. Она была умница, знала несколько языков. У неё было породистое, яркое лицо, нос с венценосной горбинкой, и сама она держалась королевой. Против неё хорошенькая, белокурая Елена Люц выглядела простушкой – с широко распахнутыми светлыми глазами и в облаке святающихся волос. Елена долго оставалась молодожавой, а Раиса Николаевна и в молодости – матрона, с горделиво посаженной головой, с манерами светской дамы.

А чтобы не скучал ещё один герой нашего романа – Виктор Мамченко, Небесным драматургом была введена в действие некая Елизавета Владимировна Ионова. У ней я знаю совсем мало: кто она, какое отношение к литературе имеет, или не имеет вовсе? Упоминания о Елизавете Владимировне, которую в семье Мамченко называли то Еренька, то Еленька, попадают в письмах Елены Люц примерно с 1944 года. На протяжении всего расследования семейного архива Софиевых я негативно относилась к Ионовой, но последние страницы жизни Елены Люц и её гражданского мужа Виктора Мамченко круто изменили моё отношение к этой женщине, которая была рядом с ними почти 30 лет.

А сначала, конечно, вызывало недоумение то, что Ионова часто проживала в доме Виктора и Елены – на непонятно каких правах, и Елена писала Юрию, что у Виктора с Еренькой намечается связь. Виктор обожал её, ничего не делал, не посоветовавшись с ней. У них были общие друзья – отдельные от Елены. Виктор часто брал Ереньку на морской отдых, куда ездил со своей женой, а Еренька – с внуком. Мамченко оплачивал Ереньке эти каникулы (из тех денег, что ежемесячно давала ему жена). Иногда Елена вообще отправляла их на юг вдвоём – Мамченко не мог обходиться без сопровождения, он постоянно болел, а Елена много работала, чтобы содержать всех. Виктор с Еленой и Еренька были как бы одной семьей. И за больным Виктором Ионова ухаживала совместно с Еленой, будто она им близкая родственница, хотя таковой не являлась, и уж тем более не была она заветной подругой Елены.

Так что возникает не один любовный треугольник, а уже несколько: Юрий Софиев – Елена Люц – Виктор Мамченко, Елена Люц – Юрий Софиев – Раиса Миллер, Елена Люц – Виктор Мамченко – Елизавета Ионова.

Да, конфигурация сложная, запутанная... Вряд ли мне её распутать – да я и не ставлю такой цели, но обещаю: все пройдут путём и греха, и любовных страстей, и слёзного горя, и покаяния, и очищения, и духовного подвига, и ужасной развязки, в которой, быть может, и состоял смысл Божьего промысла, а главное – будет творческое воплощение пережитой судьбы.

В центре этих событий – поэты русского зарубежья Юрий Софиев и Елена Люц. История их любви.

БЕЖЕНСТВО. ЕЛЕНА ЛЮЦ

Пылила дорога. Мускулистые волы тянули повозку, гружённую какой-то рухлядью. Они въезжали в огромное солнце. Красное, похожее на жерло ада, оно по-лыхало, и казалось, оттуда вырываются языки пламени, опалая небо сизым пеплом.

Араб, закутанный от пыли по самые глаза пёстрой тканью, уныло тянул долгую песню. Колёса скрипели, подпевая ему. Вдалеке синело море, окрашенное по краям закатной кровью.

По такому же красному, тяжёлому морю уходили корабли русской эскадры из Крыма. Тридцать три корабля Черноморского Императорского флота. У них на борту было почти шесть тысяч человек, покинувших Россию вместе с остатками армии генерала Врангеля. Елене этого никогда не забыть...

Открылись сумрачные люки,
Как будто в глубь могил,
Дрожа, не находили руки
Канатов и перил.
Пугливо озирались в трюмах
Зрачки незрячих глаз...

(Здесь и далее – Ирина Кнорринг. Баллада о двадцатом годе)

Корабли уходили навсегда, но думали, что на время. Думали вернуться. Их несло на своей могучей, бычьей спине кипящее море, гневное море...

...Нас жадно взяли трюмы корабля.
И мы ушли – предатели, Иуды,
И прокляла нас тёмная земля...

Но всё равно, там, на этой «тёмной земле», родные берега – их долго было видно. И потом, уже в открытом море, среди волн всё ещё, казалось, чайки кричат беженцами, которых не вместили корабельные трюмы и палубы. Они были переполнены, и суда могли потонуть. Один корабль, эскадренный миноносец «Живой», так и потонул, не устояв против шторма. Погибло около трёхсот человек – офицеры Донского полка.

Но те, кто толпился на Крымском берегу, не думал о гибели в море или на чужбине. Все думали только о спасении. Спасти, спасти! Продлить жизнь на месяц, на день, на мгновение, но продлить. Как они кричали!

Раздался взрыв: тяжёлый, смелый.
Взорвался и упал.
На тёмном берегу чернела
Ревущая толпа.
Все были, как в чаду угара,
Стоял над бухтой стон.
Кровавым заревом пожара
Был город озарён...

Беженцы эти со всей России, с малыми детьми на руках, оставались в горячей Совдепии, как и те, кто слал проклятия исходу Белой армии. А ушедшие с кораблями благодарили Господа.

«В русских сердцах билась тайная радость, дрожало ликование, что вот наконец-то ушли, спаслись, вырвались на волю из лютых когтей красного “человека-зверя”» (Владимир фон Берг. *Последние гардемарины. Бизерта, 1920*).

И ещё картина: на высоких крымских холмах маячили тёмные фигурки татарок. Они сидели на земле, обхватив колени руками, молчаливые и неподвижные, как бабы каменные в ковыльной приморской степи. Елена видела однажды эти языческие изваяния. После дождя щёки каменных баб блестели слезами, и в неглубоких впадинах глаз мерцала влага, а у ног этих древних истуканов растекалось море маков, будто кровь неповинная...

Сердце сильно жалось, заболело так, что пришлось лихорадочно дышать, захватывать губами солёный воздух, чтобы не задохнуться.

Елена любила приходить на скалы Бизерты, откуда открывался вид на город и на море.

«...Это белый город с куполами магометанских мечетей и готикой католического храма, днём облитый жарким золотом солнца, ночью – спящий в серебре лунного сияния.

...Это зелёный оазис среди песчаных холмов и гор. Стены зелёного колючего кактуса, аллеи стройных пальм, колонны алоэ вздымают к небу свои роскошные розовые чаши.

Лиловые и белые глицинии душистыми гроздьями спадают по белым стенам дворцов правителей...

...Это рощи маслины, где между кривыми чёрными стволами, пригибаясь к земле своим стройным станом, проходят белые фигуры арабских женщин, с головы до ног обвитые тонкой белой чадрой. Смуглыми руками в серебряных запястьях они будут собирать жирные оливы в круглые корзины.

Когда на тёмном небе зажгутся голубые звёзды Ориона, они уйдут в свои аулы. В лесах завоюют шакалы, и прокричит там выть.

...Это город арабов, облагороженный французской культурой и порабощённый ею.

...Там, в горах, за валами крепости, за тяжёлой железной дверью, в полутёмном каземате горят лампы перед новой иконой странников бездомных – “Радость странным”. В облаках, плывущих над морем с белыми кораблями, над зелёным полем с белыми лагерями (русских беженцев) растянула Царица Небесная свой святой покров Богородицы, и внемлет молитве-акафисту защитница странников бездомных.

Русские женщины, девушки, мальчики и девочки, русские воины-морьяки слушают песнь сию утешительную на коленях в волнах ладана.

Жарко горят восковые свечечки под венцом живых цветов, окружающих лик Богородицы.

“Защити, помоги и помилуй войско русское, войско белое под покровом Твоим святым на высокой горе в этой крепости!”

...Это кладбище на высокой горе, французское кладбище, где под священной тенью тёмных кипарисов спят вечным сном усталые русские труженики, так страстно, так нежно, так глубоко любившие свою Россию и не дождавшиеся её великого воскресения...» (Владимир фон Берг. *Последние гардемарины*).

«...Это вечно волнуемая масса людей, тревог, сплетен, толков, интриг и предрассудков... Это лагерь бывших людей. У всех обитателей положение настолько неопределённое, что они даже представить себе не могут, что ждёт их. И в настоящем они зависят не от себя. Всё в прошлом... Жизнь кипит: все вечно волнуются, торопятся что-то сделать, копошатся, но к вечеру вся их деятельность сводится к нулю... Лагерь полон предрассудков, в нём своя жизнь, свои обычаи, уставы. Нравы жителей грубые и суровые. Живут они грязно, голодно и холодно... С первого взгляда город может показаться мёртвым...» (*Ирина Кнорринг. Повесть из собственной жизни. Дневник. Москва: Аграф, 2009*)

Надо отметить поразительную точность взгляда 14-летней девочки-подростка в оценке событий и людей, какую мы наблюдаем при чтении Дневника Ирины Кнорринг, и как её видение эмигрантской жизни отличается от восторженных, поэтических восклицаний гардемарина Владимира фон Берга.

* * *

В Тунис Елена попала из Севастополя, где в 1920 году окончила гимназию В. И. Дриттепрейс – с золотой медалью. А прежде жила в Екатеринославле и, вероятно, там же познакомилась с подпоручиком Густавом Люцом, который жил тоже в этом городе. А может, они сошлись уже в Крыму или в Тунисе. Это мне неизвестно. Он был на девять лет старше её. Успел отличиться и в Первой мировой войне, и в Белом движении. Но в Тунисе он уже в отставке. Работает бухгалтером, потому что когда-то был слушателем Московского коммерческого института. Принял православие. Стал Георгием. Елена – его жена.

* * *

Бывшие дворяне, цвет высшего российского общества, оказались в таких бытовых условиях, что пришлось многому учиться. Главное – учиться выживать. Ирина Кнорринг пишет в «Повести из собственной жизни»: «“Разве я что-нибудь особенное?” И мать тоже всё время твердила: “Не думай, Ирина, что ты что-нибудь особенное, не ставь себя выше других”».

Вместе с матерью она делает всё по дому и помогает выполнять разные работы – для пропитания. Она пишет в Дневнике, что ей стыдно за прежнюю жизнь, когда у них были слуги, когда на них работали другие люди, а сами они, господа, даже горделиво поглядывали на работников и гнушались обслуживать себя. Ей стыдно, и она считает беженство, унижения эмигрантки, нищий быт – возмездием, искуплением гордыни и прежней, высокомерной жизни бездельников. Теперь она постоянно трудится, и делает всё это, как сама признаётся, «с наслаждением», поскольку видит в труде освобождение от грехов.

Так же считали и её родители, и её будущий муж, Юрий Софиев, и Елена Люц, которые с христианским смирением приняли испытания.

Отец Ирины, Николай Николаевич Кнорринг, чьи предки были немецкими баронами, русский дворянин, статский советник, бывший владелец усадьбы в деревне Елшанке под Самарой, учёный, музыкант, литератор, – мыл полы в Тургеневской библиотеке, когда они переехали в Париж из Туниса, потом, правда, вошёл в правление этой библиотеки. В библиотеке он проработал 15 лет. Сотрудничал в газетах «Последние новости» и «Русские новости» (как журналист), читал лекции во Франко-Русском институте по истории русской культуры, писал

книги, играл на скрипке в любительском оркестре вместе с Павлом Милюковым – бывшим министром Временного правительства.

Память о нём, как сотруднике Тургеневки, сохранилась до наших дней. Из Парижа мне прислали сборник статей «Русская общественная библиотека имени И. С. Тургенева. Сотрудники – друзья – почитатели», которая вышла в 1987 году. И в сборнике этом не только есть статьи Н. Н. Кнорринга, но и его фотографии: за чтением книг, в обществе библиотечных дам – М. П. Котляревской и Л. В. Шейнис-Чеховой.

О них М. Алданов писал с восхищением (*Юбилей Тургеневской библиотеки // Дни. 1925. 21 ноября*): «Тысячам посетителей библиотеки хорошо известны их огромный труд, их знания, их неизменная любезность, та атмосфера высокой культурности, которую они сумели создать...»

Во время немецкой оккупации Парижа библиотека подверглась разграблению фашистами, и Николай Николаевич Кнорринг вместе с другими сотрудниками спасал то, что можно было спасти. Ночью, тайком, вывез он наиболее ценные книги и рукописи, сданные на хранение в библиотеку русскими писателями-эмигрантами. Среди спасённых библиотечных ценностей были и девять чемоданов с рукописями И. Бунина, который в то время жил в Грассе (кстати, когда Н. Н. перевозил рукописи Бунина и книги из библиотеки, таксист – тоже русский эмигрант отказался брать деньги за услугу). Есть записки от Бунина, адресованные Н. Н. Кноррингу, на французском языке.

Вот одна из открыток, посланная Буниным из Грасса в Париж 20 сентября 1941 года:

«Дорогой Г-н Кнорринг, я получил Вашу открытку, которая доставила огромное удовольствие, и я Вам премного благодарен. Если возможно, то я бы хотел, чтобы мои чемоданы (которых девять) были доставлены по моему парижскому адресу (1, ул. Жак Оффенбах, Париж 16), там надо обратиться к консьержке и г-же Эмбер, которые занимаются моей квартирой. В этом случае сообщите мне, пожалуйста, сколько стоила доставка багажа, чтобы я мог Вам возместить расходы по почте. Если же это будет слишком сложно, то оставьте мои вещи вместе с Вашими.

Заранее Вам благодарен, и от всего сердца пожимаю Вам руку.

Ваш И. Бунин».

Но мы отвлеклись от трудного быта русских эмигрантов. Продолжим.

Жена Николая Николаевича Кнорринга, Мария Владимировна, хорошей русской фамилии, родственница прославленного генерала М. Д. Скобелева, покорителя Туркестана и героя Плевны. Мария Владимировна шила, стирала, готовила еду, вязала на продажу, мастерила кукол вместе с дочерью, делала вышивки.

Мир тесен. Оказывается, и дед Юрия Софиева, «майор уланский», тоже знал М. Д. Скобелева. Об этом Юрий Борисович пишет в своих стихах: «А вот мой дед, майор уланский, / Со Скобелевым говорит, / А по дороге самаркандской / Усталый ослик семенит...»

Потомок шахов-сефевидов и золотоордынской знати, скрестивших свою кровь с казаками и принявшими православие, русский дворянин, офицер Юрий Бек-Софиев мыл окна больших парижских магазинов, работал на резиновом заводе в Монтаржи, дыша ядовитыми парами.

И отец его, из династии военных, герой Русско-японской войны, георгиевский кавалер, полковник, дослужившийся до генерала, но отказавшийся от этого звания, так как не мог его принять в войне против своего народа – в эмиграции Борис Александрович трудился на разных фабриках простым рабочим.

Думаю, столь же состоятельной прежде и благородного происхождения была и семья Елены Майер (Люц), которая в эмиграции стала жить физическим трудом.

Быт и моральное состояние беженцев были такими удручающими, что некоторые не выдерживали. Спивались. Умирали от наркотиков. Кончали самоубийством. Однофамилец её мужа, Густава Люца, а может, и родственник, охотник флота команды крейсера «Генерал Корнилов» Николай Люц застрелился.

Густав оказался покрепче, неплохо устроился на чужбине, но говорить с ним было решительно не о чем. Скучно. И молодая жена быстро сбежала от него к простому матросу, Виктору Мамченко. Простой да не простой. Красив собой и ровесник ей. Горяч, заводится в споре с полуоборотом, но так же быстро и остывает, делается нежен и кроток. Он пишет стихи.

Распяты в небе реи кораблей,
Высоко подняты морские тени,
А юнга всё поёт про журавлей,
Распластанных в волнах морской кипени,
О том, что дева, будто сгоряча,
В любви сгорела тихо, как свеча.

О, сколько звёзд над Африкой твоей!
Их, может быть, на Черноморье столько –
В тиши, в ночи, среди жатвенных полей,
В сверканье росном, где колосья стойко
Так бурно в грозах вынесли свой рост,
Где звёздный всплеск божественен и прост.

Теплом согрет, ещё теченьем дня,
Так щедро пролитым в долинах Керуана,
Вдруг вижу я, как Лермонтов меня
Касается, его мерцает рана
Под звёздами – горячей и земной,
И кто-то в звёздах плачет надо мной...

Елена тоже писала. Видно, это и свело их. Они часами могли разговаривать – о поэзии, о судьбах мира, о природе счастья. Потом целовались. Потом снова говорили, говорили, говорили – и не хватало им дня, и не хватало ночи.

Произошёл разрыв с Густавом.

* * *

И Виктор, и Елена, скорее всего, семью Кноррингов знали ещё по Африке. Круг-то общения довольно тесен. Все друг у друга на виду. На одной из фотографий, которая хранится в архиве Кноррингов, жёны морских офицеров в швейной

мастерской. Среди них – жена Николая Николаевича Кнорринга Мария Владимировна (Николай Николаевич преподавал в Морском кадетском корпусе) и Елена Люц, прелестная, улыбочивая, коротко стриженная, с крупными бусами на шее.

Знали Виктор с Еленой, вероятно, и Ирину Кнорринг. Она была единственной девочкой среди гардемарин Морского кадетского корпуса – больше нигде было получать среднее образование. В пансионе при монастыре Сионской Божьей Матери, куда её поначалу отдали, Ирина учиться не захотела. Правила, установленные там монахинями, казались ей невыносимыми. Она запросилась на волю.

Она тоже, как Елена Люц и Виктор Мамченко, писала стихи, и даже начала печататься в эмигрантских изданиях. Отец показывал тетрадки со стихами дочери Константину Бальмонту – тогдашнему кумиру пишущей братии. Слава его была уже на закате, но никто об этом ещё не знал.

Тут необходимо сделать отвлечение на Константина Бальмонта, который сыграл определённую роль в литературной судьбе Ирины Кнорринг. Факты эти не особо широко известны, и поэтому, может, будут интересны.

* * *

«Подрастала моя дочь Ирина, с явными поэтическими склонностями, и мне пришлось вводить её в *in medias res* русской поэтической литературы наших дней, – писал Н. Н. Кнорринг в своих воспоминаниях о К. Бальмонте (*Из литературных воспоминаний // Простор. 2005. № 11*). – Живя в Бизерте, я выписывал из Парижа книги современных поэтов: Бальмонта, Блока, Гумилёва, Ахматову, Цветаеву и других. Ирина пристально изучала преимущественно стихотворную технику знаменитых поэтов, усваивая их манеру письма и проч., подобно музыканту, решающему задачи по гармонии. Следы этих влияний можно очень легко проследить по её стихам. Бальмонт оглушил её звоном своих стихов и эффектом неожиданных словообразований. Когда она прочла его “Сонеты солнца, мёда и луны”, она очень скоро овладела этой формой и написала ряд своих сонетов.

В 1924 году я задумал съездить из Бизерты, где мы тогда жили, в Париж по своим делам (*Он хотел подготовить почву для переезда во Францию. – Н. Ч.*), и взял с собою тетрадку стихов моей дочери. К этому времени Ирина начала уже печататься, и я думал показать её стихи сведущим лицам, в частности – Бальмонту. Как известно, к этому времени он уже эмигрировал из советской России и жил во Франции. В первый мой приезд на его квартиру (на ул. Кассиньи) я его не застал дома, но оставил тетрадку, а потом сговорился с ним о встрече. В назначенный час я пришёл к нему. Он открыл мне двери, провёл в свою комнату и сейчас же бросился отыскивать Ирину тетрадку в груде книг, лежащих на столе. Найдя её, он подсел ко мне, предложил папиросу и начал говорить, как обычно говорится в таких случаях: что стихи Ирины совсем юношеские, и проч., что ей следует вообще много работать и т. д. Я его попросил указать на какие-нибудь определённые недочёты её стихов. Тогда Бальмонт сказал, что у неё слишком много глагольных рифм».

Николай Николаевич понял, что Бальмонт её тетрадку не смотрел или довольно небрежно перелистал, так как Ирина уже довольно хорошо писала, и глагольных рифм у неё как раз было очень мало. «Делать было нечего. Разговор перешёл на общие темы о поэтах и проч. Коснувшись Пушкина, Бальмонт сказал, что если Ирина сейчас не занимается им, то займётся потом...»

Пушкина Бальмонт никогда не забывал. На одном из своих выступлений в Обществе любителей российской словесности в Москве, посвящённом 25-летию со дня смерти Н. А. Некрасова, молодой тогда, в 1902 году, поэт Константин Бальмонт сказал, что «в России, наподобие “семи мудрецов” и “семи чудес света”, имеется семь великих поэтов». По его мнению, это – Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Кольцов, Тютчев, Фет и Некрасов. На этом вечере был и Н. Н. Кнорринг, и он был удивлён включением в этот список Некрасова.

«Как модернист, “декадент” и проч., Бальмонт по своим поэтическим устремлениям, конечно, был чужд мотивам некрасовского творчества, тем более интересно, что он высоко оценил мастерство “печальника горя народного”».

И всё же на первом месте был у него Пушкин, хоть Бальмонт и «модернист»!

«Между прочим, я спросил Бальмонта о манере Ирины писать стихи прямо “набело”, вспоминает Н. Н. Кнорринг, – на что он ответил, что это “ни хорошо, ни плохо”, что это “свойство поэта”... Уже в прихожей, узнав, что статья в “Последних новостях” о Тунисе и Карфагане принадлежит мне (под буквой “К”), он стал ко мне более внимателен, заговорив о загадочности этой африканской культуры...»

Бальмонт, по-видимому, следил за развитием дарования Ирины, интересовался её стихами и ею самой, посылал ей свои книги, и между ними завязалась интересная переписка».

Несколько открыток от К. Бальмонта Ирине хранятся в семейном архиве Кноррингов.

16 мая 1924 года Бальмонт посылает Ирине открытку из Шателейона, расположенного на берегу океана, где поэт тогда жил: «Каждый день я жду присылки оттисков “Русского языка” – и всё не приходят. Как только получу, вышлю Вам оттиск. Вчера послал книгу “Где мой дом?”. Поклонитесь Вашему отцу. Я жалею, что мы свиделись так бегло, и я был пасмурный. С истинной радостью прочёл в своё время его хороший очерк обо мне и был рад, если бы удалось прочесть очерк о “Рус. яз.” и “Где мой дом?”. Привет. К. Бальмонт».

Ирина была счастлива! И в своём Дневнике запечатлела это событие, как самое замечательное, которое затмевало все другие. Она пишет ему.

7 июля 1924 года Бальмонт отвечает восемнадцатилетней поэтессе: «Многоуважаемая Ирина Николаевна! Мне было очень приятно получить от Вас письмо. Мысли Ваши и стихи мне кажутся интересными. Но мне жаль, что и Вы, как большинство теперешних молодых поэтов, увлекаетесь неверными рифмами. Они законное явление – лишь как исключение, редкое, вызываемое особыми приметами настроения. Как правило, они лишь распушенность и слишком лёгкая неряшливость. Грозный пример – М. Цветаева. Крупная поэтесса, из-за вольготных косоликих своих рифм она часто отвратительна там, где она была бы обворожительна. Родник – Пушкин, он проклял бы такие рифмы. Если надумаете, пришлите мне своих стихов. Привет. К. Бальмонт».

Ирина рада и этому письму, но не согласна с мэтром, с его отрицанием вольностей в стихах М. Цветаевой. «У Ирины, – вспоминает Н. Н. Кнорринг, – оказалась довольно твёрдая позиция в этих щекотливых вопросах. Лично оставаясь в отношении версификаторства на традиционных позициях, она, однако, чутко прислушивалась к веянию “молодой поэзии”, контуры которой были вообще очень неопределённые...»

Дружба молодой Ирины с К. Бальмонтом была особым случаем, поскольку, как вспоминает Н. Н. Кнорринг, поэт-декадент, «встретивший революционные грозы восторженно-бурными стихами, впоследствии отошёл от революционных тем и вообще жил довольно замкнуто, не примыкая к каким-либо литературным объединениям и мало интересуясь поэтической молодёжью...»

Ириной Кнорринг он заинтересовался. И вообще подружился с её семьёй. Тяжело больной, поэт приходил в Тургеневскую библиотеку, где работал Н. Н. Кнорринг, беседовал с ним. «Хорошо помню его поседевшую голову и усталый взгляд, обращённый куда-то внутрь, – вспоминал Н. Н. Кнорринг о К. Бальмонте. – Обычно его сопровождала жена, верная спутница его последних лет, которая заочно всегда называла его “поэтом”...»

Но он уже почти не писал и крайне редко печатался в эмигрантских изданиях. Бальмонт ходил с ума. Лечился в психиатрических клиниках. Нищенствовал. Умер в феврале 1942 года, в приюте в Нуази-ле-Гран, где и похоронен. (В этом же приюте окажется потом и сам Н. Н. Кнорринг.) Николай Николаевич был в числе немногих, проводивших Бальмонта в последний путь.

«Я так люблю его прозу», – записала в своём Дневнике Ирина Кнорринг, и «Повесть из собственной жизни» она предваряет эпиграфом из К. Бальмонта:

Всё, на чём печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил.

Николай Николаевич Кнорринг и сам грешил сочинением стихов, но не отсылался к этому серьёзно, никому не показывал и никогда не печатал. Возможно, в поэтическом творчестве дочери видел он воплощение своей несостоявшейся стези поэта.

* * *

Как Виктор сошёлся с Еленой Люц, неизвестно, но вскоре Елена стала жить с ним гражданским браком. А муж её, Густав, потом женился вторично, на Нине Николаевне Крюковой, с которой был счастлив, что, может быть, как-то успокаивало совесть Елены, сбежавшей от него.

Во Францию Елена и Виктор приехали уже вместе. После недолгих скитаний поселились в Медоне, в «козьей хатке» – так прозвали они пристройку к вилле хозяев. В пристройке раньше обитали козы, потому – «козья хатка». Елена обустроила и жилище, и участок перед ним.

«К флигельку примыкают от силы 10–15 кв. метров земли, которыми может пользоваться Мамченко, – писал в очерке “Возвращение на Родину” Ю. Софиев. – Почти вся она возделана под большую цветочную клумбу. У забора ореховый куст, несколько кустиков малины. По двум стенам домика – две других прилегают к чужим участкам – тянутся виноградные лозы, растут два гигантских куста помидоров, достигающих крыши домика. И виноград, и помидоры прижаты к стенам крупной, вьющейся сочно-оранжевой настурцией. С сердечной благодарностью вспоминаю я многие часы на протяжении многих лет, проведённые у моего друга на этом крохотном цветущем кусочке земли. Вспоминаю хорошую мою зависть садовода. У меня, в парижской квартире, страсть к земле сводилась всего лишь к разведению кактусов, привозимых мною из летних странствий по берегам Средиземного моря и с Корсики...»

Надо сказать, ещё в Тунисе русским беженцам было предложено принять французское гражданство. Отказавшиеся его принять с октября 1924 года перешли на положение апатридов (лиц без гражданства), что лишало их каких-либо гражданских прав и социальных гарантий. Люди эти особенно бедствовали, перебиваясь случайными заработками, да и то им платили всегда меньше, чем французам, за один и тот же труд.

Елена с Виктором, как и семья Кнорринг, от французского гражданства отказались. Корабли, на которых они пришли в Тунис и которые несколько лет были для них территорией России, навсегда спустили Андреевский флаг и поступили в полное распоряжение французских властей. Один за другим корабли эти стали распродаваться. Некоторые настолько проржавели, что превратились в металлолом.

Теперь Россией для таких, как Люц и Мамченко, как семья Кнорринг, стал русский язык и община русских эмигрантов, которая жила довольно изолированно от тунисцев, а потом и французов. У русских была своя церковь. Свои школы. Во Франции – свой институт. Свои союзы разного толка. Свои печатные издания. М. Алданов в очерке «О положении эмигрантской литературы» сообщает: «Согласно произведённому в 1925 г. подсчёту, за границей существовало 364 периодических издания на русском языке».

С 1924 года в Париже ежегодно проводятся Пушкинские дни. Поэты продолжают перекликаться, «аукаться» именем Пушкина «в надвигающемся мраке», как образно сказал когда-то, в «красном» Петрограде, Ходасевич на очередной годовщине Пушкина, а Блок тогда же выступил со своей предсмертной речью «О назначении поэта» (1921 г.). На каждом Пушкинском дне звучали его стихи «Пушкинскому дому»:

Пушкин! Тайную свободу
 Пели мы вослед тебе!
 Дай нам руку в непогоду,
 Помоги в немой борьбе!

* * *

Во Франции Виктор с Еленой активно включились в литературную жизнь русской эмиграции, перекочевавшей сюда из Африки, из Югославии, из Германии, из Чехословакии. Поддерживали связь с теми, кто в Харбине. Елена состояла членом Союза молодых русских писателей и поэтов во Франции. Организаторами этого Союза выступали М. А. Струве, Д. Монашов, А. Юниус (Александр Кулишер), Ю. Терапиано. Одно время была Елена даже в правлении Союза, вместе с С. Слуцким и А. Ладинским (1926 г.). (К слову хочу заметить, что Антонин Ладинский, вернувшись в Россию, кроме писания исторических романов, занимался ещё литературной обработкой подстрочников, в том числе – казахских.)

«Мне кажется, со временем много будет написано об атмосфере тридцатых годов в Париже, потому что в Париж, волей судьбы, переместился центр – не русской жизни и не русской литературы, конечно, но некоторый очень важный центр – “человека своего столетия”.

В каждом столетии люди наново отражают вневременный, целостный момент – жизнь. И чем напряжённее внешняя обстановка данного столетия, чем страшнее

и беспощадней, чем мучительнее внутреннее состояние душ, тем высота постигаемого, хочется верить, должна быть человечней и чище...» (Ю. Терапиано. *Человек 30-х годов*)

И не зря молодой эмигрантский поэт Юнг 30-е годы русской эмиграции назвал «периодом обнажённой совести». Но если вспомнить Достоевского, его записки о писателях, то «обнажённая совесть» не будет казаться чем-то исключительным.

Достоевский говорил, что слово «честный» в применении к художнику играет ту же роль, что слово «храбрый» по отношению к военному, то есть художник должен быть по определению честным. Художник и честность – слова-синонимы. Но это, конечно, в идеале. На практике, увы, художник и честность совпадают не всегда. Но герои нашего романа всё же стремились к идеалу.

«Обнажённая совесть» – и в литературе, и в личных отношениях будет им сопутствовать на протяжении всей их жизни.

Почти одновременно с Мамченко и Люц во Францию переехал из Белграда и поэт, участник Белого движения Юрий Софиев – вместе с отцом, однокашником и сподвижником Деникина, Борисом Александровичем (Оскар Бек-Софиев). Юрий также стал членом Союза, печатался в эмигрантских изданиях и подружился с Виктором Мамченко и его женой. Дружба эта не прервалась и с отъездом Юрия Софиева на Родину в 1955 году.

Елена Люц тоже страстно хотела вернуться в Россию, хотя во Франции, как специалист, она была на хорошем счету и даже отмечена наградой – орденом Общественного Здравоохранения, за организацию благотворительной деятельности во время немецкой оккупации. Она закончила сначала школу сестёр милосердия, затем училась в Сорбонне, правда, недолго. Руководила амбулаторией Жанны д'Арк в Париже, в последние годы работала в диспансере для проблемных и недоношенных детей в Сент-Реми. В 1935 году выбиралась в правление благотворительного общества «Быстрая помощь», в котором работала и жена П. Н. Милюкова, Анна Сергеевна. Её называли «добрым ангелом». И так же называли Елену Люц. Общество это помогло выжить многим русским эмигрантам, которые нередко оказывались на краю гибели из-за нищеты и болезней. Например, весной 1935 года жена Константина Бальмонта писала отчаянные письма, когда поэт попал в клинику для душевнобольных.

«Мы в беде великой и в нищете полной, – писала она. – Гибнем... Помогите вырвать из мятежной тьмы Солнечного...» – так подписывал иногда свои стихи Бальмонт: «Солнечный».

Помощь ему была оказана. Помогали поэту и позже. Устраивался благотворительный вечер «Писатели – поэту». Сбор от вечера поступил в фонд Бальмонта. На благотворительные средства жил он и в приюте, в Нуази-ле-Гран. И таких примеров было много.

Елена Люц принимала самое активное участие в благотворительной деятельности русской эмиграции. У неё была душевная потребность – спасать. Этому, по сути, она и посвятила свою жизнь.

В январе 1950 года Елена Люц и Виктор Мамченко получили советские паспорта. Немного раньше советским гражданином стал и Юрий Софиев (1946 г.), а также его сын и родители жены. Они могли бы вернуться на Родину сразу же,

но в 1947 году была приостановлена реэмиграция, а многие из тех, кто уехал в Россию до 1947-го, – были репрессированы. Но и во Франции новые советские граждане подверглись гонениям. Юрий Софиев вспоминает, что после получения советского паспорта он в числе одиннадцати литераторов был исключён из Союза русских журналистов и писателей (1947 г.). В этом Союзе Юрий Борисович состоял двадцать лет – с 1927 года.

Мать Ирины Кнорринг, Мария Владимировна, которая тоже получила советский паспорт, не дождалась возвращения в Россию – она умерла от сердечного приступа незадолго до отъезда, на Пасху. Полуживая, еле держась на ногах, она выстояла Всенощную, считая невозможным пропустить эту великую службу.

* * *

Мой муж, Игорь Софиев, рассказывал, что их предупредили об опасности выезда на Родину в 1946 году, когда получили они советские паспорта. Предупредивший их человек, конечно же, рисковал, давая такую информацию. Низкий ему поклон! Он, может быть, спас жизнь моим близким. Но тоска по Родине была так велика, что ни на минуту не оставляла надежда вернуться. Они не мыслили себя вне Руси. Они берегли, как святыню, даже пыль родной земли: «И пыль Москвы на ленте старой шляпы / Я как святыню берегу...» – писал один эмигрантский поэт. О том же и поэма «Бездорожье» друга Юрия Софиева, Владимира Гальского:

Мы всюду лишние. Нам всё чужое:
 Готический, торжественный собор,
 И небо юга слишком голубое,
 И Запада величье и позор.
 И в этом мире затхло-изобильном
 Мы никогда покоя не найдём,
 Пока не мстителем, а блудным сыном
 Войдём опять в опустошённый дом.
 Тогда из хаоса разъединенья
 Согласно русская польётся речь,
 Вновь процветут заглохшие селенья,
 И в мирный серп перекуётся меч.
 Мы не хотим России вахт-парадов,
 Колонных зал, мундиров, эполет,
 Нам падшего величия не надо,
 Но вне Руси нам места в мире нет.

В. Гальской одно из своих стихотворений, «Париж», посвятил Ирине Кнорринг и Юрию Бек-Софиеву, где снова говорит об их общей тоске по Родине и где Париж называет «этот город безысходный».

* * *

Конечно, и Юрий Софиев, и Ирина Кнорринг, и Виктор Мамченко, и уж тем более Елена Люц были всего лишь незначительными песчинками в океане большой русской литературы, но они из разряда таких песчинок, вокруг которых образуется драгоценный жемчуг.

А драгоценный жемчуг – это Иван Бунин, Александр Куприн, Константин Бальмонт, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Георгий Адамович, Владислав Ходасевич, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Вячеслав Иванов, Борис Зайцев, Иван Шмелёв, философы Бердяев, Соловьёв, Федотов, о. Сергей Булгаков и другие прославленные имена.

Вряд ли, живя в России, смогли бы Софиев, Мамченко и Люц столь близко сойтись с такими корифеями русской культуры.

Они слушали великого Шаляпина, видели спектакли выдающихся мастеров русского балета, посещали выставки известных художников, в недорогих парижских кафе беседовали с умнейшими людьми своего времени. Часто они не могли заказать себе обеда и обходились одной-двумя чашечками кофе, но душа их насыщалась до краёв!

В Париже сконцентрировался цвет русской культуры, и не зря его называли – «блистательный Париж».

* * *

Блистательный Париж был, конечно, неоднозначен. Хватало там не только воздуха свободы и высокого искусства, но и другой воздух витал – тлетворный.

В записной книжке за 1929 год русской эмигрантки, чуждой богемы, Бетти Шрайбман, сестры Дины Шрайбман (а Дина была одно время гражданской женой поэта Бориса Поплавского), есть такая запись:

«Что они себе думают? Чем закончится Динино поведение? Неужели ей Борис нравится? Я на него не могу даже смотреть... Недаром говорили, что Париж портит всех. Оно так и есть. Какой ужас! Вот она (*Дина. – Н. Ч.*) любила Мишу, потом не знаю кого, затем Б. П. (*Бориса Поплавского. – Н. Ч.*), а теперь, наверное, есть кто-то другой.

Ц. считается женой Пр., а любит какого-то Мамченко. Валериан оставляет Раису и мечтает о какой-то Катяше. Брр, холодно делается от всей этой путаницы. Это значит свобода любви, или что? Ничего не понимаю, с ума можно сойти от всей этой путаницы...»

В остроумной книге «Поезд на третьем пути» Дон-Аминадо (Аминад Шполянский, в прошлом постоянный автор петроградского «Нового Сатирикона») тоже пишет о порочном бытии и «путанице» в русском Городке на берегу Сены:

«Не всё было весело в русском Городке, через который протекала Сена. Но смешного, чудовищно нелепого было немало.

Короновался на царство и вступил на осиротевший российский престол великий князь Кирилл Владимирович, объявивший себя Императором.

Царскосельские скачки были перенесены в Сэн-Брийак, куда переехали на жительство оставшиеся в живых шуаны, камергеры с ключами и весь Двор.

Городок был объявлен столицей, а в гостинице “Мажестик” на Av. Kléber состоялся зарубежный съезд, устроенный на шальные деньги А. О. Гукасова, мечтавшего на белом коне и лихим галопом вернуться в Россию...

...Появилась даже собственная зарубежная азбука, которая, по имени нового императора Кирилла Владимировича, получила название Кириллица.

Весь этот русский амбир подавлял изобретательностью, новизной, пробуждал умы и веселил души. Ничего подобного Европа до сих пор не видела. Никакой параллели между французской эмиграцией, бежавшей в Россию, и русской эми-

грацией, наводнившей Францию, конечно, не было. Французы шли в губернёры, в приживалы, в любовники, в крайнем случае, в губернаторы, как Арман де Ришелье или Ланжерон и де Рибас. А русские скопом уходили в политику, в философию, а главным образом – в литературу. Были страны, которые чрезвычайно это поощряли и не только выдавали ренты и субсидии, но особых идеалистов награждали ещё медалями и орденами. Так, например, король сербский Александр пригласил к себе во дворец Зинаиду Николаевну Гиппиус и Дмитрия Сергеевича Мережковского и под стройные звуки балалаечного оркестра собственноручно приколот им орден св. Саввы первой степени, с мечами и бантами. И, действительно, было за что.

У Мережковского было не только большое литературное имя, но ещё и особенная, недюжинная, почти патологическая страсть к раболепству и преклонению. Великие мира сего: короли, халифы, военачальники и диктаторы ослепляли его, околдовывали, превращали в лепёшку. В конце концов какое имеет значение, за что именно удостоен был Мережковский королевской милости: за литературу, за пресмыкательство, за “Трилогию” или патологию? Триумфальное возвращение из Белграда, ленты, ренты, сплетни, стихи – “шёпот, робкое дыханье, трели соловья”...

А в Городке не умолкает газетный шум, кипит словесная война. Все пишут, все печатают, все издают. Графоманы, скифы, младороссы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, дети лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья – валяй, кто хочешь, на Сенькин широкий двор.

Толчея, головокружение, полная свобода печати: “Наш путь”, “Наша правда”, “Наш значок”, “Стяг”, “Флаг”, “Знамя”, “Знаменосец”, “Вестник хуторян”, “Вестник союза русских дворян”, “Нация”, “Держава”, “Русский сокол”, “Русский витязь”, “Имперская мысль”, “Эриванская летопись”, орган калмыцкой группы Хальмак – “Ковыль”. А о количестве “Огоньков” и говорить не приходится. И так, без перебоя, двадцать пять лет подряд, до “Советского патриота” включительно. И всё больше младороссы, младороссы, младороссы.

То есть, попросту говоря, молодые люди, не доросшие до России.

А наряду с этим роман генерала Краснова “От двуглавого орла к красному знамени”.

Роман Брешко-Брешковского “На белом коне”.

Роман Анны Кашиной “Жажду зачатия”.

И роман госпожи Бакуниной “Твоё тело принадлежит мне...”

Отдых на крапиве продолжается. Музыка играет, штандарт скачет...»

Но были и великие моменты в жизни русского Парижа.

В редакционном слове журнала «Числа» по поводу присуждения Ивану Алексеевичу Бунину Нобелевской премии как бы подводится первый итог работе русских писателей, оказавшихся в изгнании, но никогда не отделявших себя от России, от её культуры:

«Нобелевская премия давно уже стала высшей наградой в области литературы и науки, символом признания. Народы гордятся своими лауреатами.

Но в жизни русской эмиграции, этого своеобразного “народа без земли”, духовные ценности играют ещё большую, совершенно особую роль. Только во имя их может быть искуплена её тяжёлая судьба, оправдана трагедия изгнания.

Присуждение Нобелевской премии Ивану Алексеевичу Бунину было воспринято русской эмиграцией как праздник и великая радость.

Торжественное увенчание творчества писателя-эмигранта подтвердило перед лицом всего мира, что нам есть за что бороться, во имя чего не примириться с теми, кто искажает образ России. Это – признание ценности свободного эмигрантского слова.

Мы не принадлежим к тем, которые хотят провести непроходимую черту между литературой Советской России и литературой эмиграции. Несмотря на всё, русская литература продолжает быть единой...»

ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ

По воспоминаниям моего мужа, Елена Евгеньевна Люц часто появлялась в их парижском доме. Её считали своей – «домашним врачом». Она лечила и стариков, и моего мужа, когда он был ребёнком.

В мемуарах «Разрозненные страницы» Юрий Борисович Софиев так описывает свою первую встречу с Еленой и Виктором Мамченко:

«В субботу я пошёл на литературный вечер Союза русских молодых поэтов и писателей. У кассы сидела красивая блондинка с пышной светлой шевелюрой, с весеннего, небесного цвета огромными глазами. Рядом с ней стоял тоже красивый молодой человек, у него был явно украинский тип лица. Я взял билет, и кассирша мне сказала, чтобы я проходил в зал и садился на любой свободный стул. Вдруг молодой человек спросил меня, не поэт ли я? Я ответил, что действительно пишу стихи, был членом двух литературных студенческих кружков в Югославии, теперь переехал во Францию и работаю в Монтаржи. Сегодня в командировке. Я засмеялся и сказал: “Вот всё, что я могу сообщить!”

Мы познакомились, он представился: “Виктор Мамченко, поэт, член этого Союза, один из его организаторов. Это наше самоутверждение. Мы должны заявить о себе! “Старики” нас не признают, не хотят нас пускать в журналы. Конечно, они люди большой культуры, мы же – ещё случайной и малой, но мы своего добьёмся!” – “Такие задачи были и у нас в Белграде, – подхватил Ю. Софиев. – Мы кое-чего добились, выпустили коллективный сборник стихов, о нас заговорили в печати”.

Я не стал подробно объяснять наши дела, но Мамченко пришёл в восторг и возбуждённо сказал: “Вот видите! Молодцы! Молодцы! Вот и мы добьёмся признания! Лена, – обратился он к кассирше, – познакомься, пожалуйста, это поэт Юрий Софиев из Белграда!.. Переезжайте в Париж, будем вместе работать”.

Так завязалась ещё одна из дружб на всю жизнь. С Виктором Мамченко и Еленой Майер...»

На том же субботнем вечере Юрий встретил и свою будущую жену, Ирину Кнорринг, которая поразила его не только своими стихами об экзотических картинах Африки, откуда недавно переехала, но и сама по себе – своими зелёными глазами.

Похоже, вечер этот был судьбоносным.

Когда именно Елена Люц влюбилась в Юрия Борисовича – тогда же, на том вечере, или позже – сказать трудно, но влюбилась. У него с женщинами это происходило легко. Некая особая магия была заключена в нём, особый мужской шарм, который действовал неотразимо. К тому же, отличала его мягкая благожелатель-

ность к любому человеку, интерес к нему, особенно к женщинам, к их женским переживаниям и сердечным тайнам, – о том множество свидетельств в письмах к нему и воспоминаниях знавших его людей.

«Рядом с тобой я всегда чувствовала сияние радости. Оно приводило меня в восторг – до слёз...» – признавалась Раиса Миллер.

«Только ты можешь меня понять...» – писала ему Елена Люц.

«Мы всегда знали, что он человек особой высоты, необыкновенный, не чета нам, но никогда не подчёркивал он этого, и как-то так умел расположить к себе, такой сердечностью был наделён, что хотелось выложить ему всё-всё, до самой капельки, и он непременно поймёт, посочувствует и умно рассудит. Такая лёгкость потом на душе! Светлый был человек...» – из рассказа его алма-атинской соседки Марии.

На многих фото начиная с 1925 года Елена Люц всегда рядом с Юрием Софиевым: либо между ним и Виктором Мамченко, либо между ним и Ириной Кнорринг, либо вовсе только с ним и как бы отдельно от остальных друзей.

Вот ещё несколько строк об особой энергетике Юрия Софиева – из письма Владимира Брониславовича Сосинского (Москва), писателя, одного из организаторов и активных членов Союза русских писателей и поэтов во Франции, участника французского Сопротивления на острове Олерон (партизаны взрывали пороховые склады фашистов), который вернулся на Родину из США в 1960 году (в Нью-Йорке он работал в ООН, писал шутливо в Алма-Ату Ю. Софиеву, что одна из 50 его профессий – дипломат), а до этого жил в Париже, и они пересекались с Юрием Софиевым на литературных перекрёстках.

«Радуете Вы меня, дорогой Юрий Борисович, бодростью и остроумием Ваших писем. На фоне наших московских парижан – Вы светлый луч!.. Вы такой молодец! Ваши письма – чудо... От них веет свежим воздухом... Я стараюсь подражать Вам...»

И жена его, Ариадна Викторовна (дочь эсера Виктора Чернова), в восторге от Юрия Борисовича, о чём не без ревности, хоть и с оттенком юмора, сообщает Вл. Сосинский, делая упор на «моя Ариадна»:

«В нашей семье появилась Ваша большая поклонница – это моя Ариадна (да, да, Викторовна!)...»

Влюблялись жёны друзей. Влюблялись подруги жены. Влюблялись юные гимназистки. Влюблялись зрелые матери больших семейств, такие, как Раиса Миллер.

В своём дневнике Ю. Софиев пишет: «Филиппов мне как-то сказал: “Ты, Юрий, демон, страшный демон”...»

Юрий Борисович усмехается на это замечание:

«Театрально! Слишком романтично! Я достаточно ироничен, чтобы принимать это всерьёз. Но и я любил, всё забывая, никогда не взвешивая, не рассчитывая, всегда бескорыстно, отдаваясь всецело чувству, совершенно заливавшему меня, в какой-то мере теряя разум и голову.

Нет! Только так! “Навеки”, “до конца”!

Пусть даже завтра будет по-другому.

Так – чтобы каждой чёрточкой лица...

Так – чтобы всё сияло по-иному...

И так – чтобы всего себя отдать
(Иначе мелко всё и всё ничтожно).
И так – чтоб мучиться, и так – чтоб ждать...
Нет, для меня иначе невозможно!

И действительно, было невозможно. Я просто шалел от переполненности чувством. Я почти становился лунатиком.

И никогда это не было грубым вожделением. Исключением была, пожалуй, Елена. В особенности вначале. И это было взаимно. Здесь две наши натуры, столь различные по характеру, неудержимо притягивались друг к другу. Если верить Асиненгеру, это было, физиологически, почти идеальное дополнение друг к другу...»

В письме из Алма-Аты в Ермон Раисе Миллер (письмо я нашла в дневнике Ю. Софиева), он честно признаётся, что Елена Люц не случайно стала занимать в его душе так много места: «Этот человек, с трудным характером, очень исковерканным Виктором, духовно тянулся ко мне и всё мне прощал. Простил и Соню (*О Соне я расскажу позже. – Н. Ч.*). Окружал меня трогательной заботой и патологической ревностью. “Никогда я тебя не выпущу из моей жизни”. Она отвоевала меня у тебя...»

Не знаю, послал ли Юрий Борисович это письмо Миллер или всё же переписал, выпустив печальную для неё правду: он любит только Елену. Её одну. Раиса бессильна завоевать его сердце, и лучше ей оставить эту затею. Рассчитывать она может только на дружбу.

Софиев так делал неоднократно – переиначивал письма, написанные в первоначальном порыве. Скорее всего, такие откровенные «письма» – были только для дневника, как форма общения поэта с виртуальным собеседником, то есть, в конечном итоге, с самим собой. Он разбирался с самим собой, со своей душой и совестью. Иначе зачем бы он записывал письма в дневник? Он мог бы их копировать отдельно от дневника, как делал это Пушкин, который тоже тщательно редактировал свои письма, прежде чем посылал адресатам. Эпистолярный жанр тоже был частью их творчества.

В этом же письме к Раисе Миллер он признаётся, что их с Еленой любовью проверена временем: «Иногда психологически она мне казалась совершенно чужой, почти враждебной, но стоило нам сойтись в жизни, и мы оба всё забывали. И только в последние годы мы оба почувствовали, что связаны сильным человеческим чувством...»

И это осознание, особенно острое после разлуки и отъезда Ю. Софиева в СССР, продиктовало ему – сделать предложение Елене жить вместе, семьей, которое она с радостью приняла, но и с мукой, с угрызениями совести, со смятением сердца.

ЛЕРМОНТОВ. «ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА»

Юрий Софиев был, конечно, не лермонтовский демон, чей поцелуй смертелен. И всё же – немного подобен «демону». Вспомним, что во времена Лермонтова «демонические натуры» особенно популярны в военной среде, а Юрий Софиев тоже ведь военный. И, как видим, в двадцатом веке нравы всё те же, что и в девятнадцатом. К тому же Лермонтов был кумиром Ю. Софиева. Юрий то и дело

сравнивает свою судьбу с судьбой Лермонтова: тоже поэт и художник, биография его тоже связана с Кавказом (по отцу он лезгин из Дагестана), он тоже военный, тоже воевал, он пережил изгнание, как и Лермонтов, предок Юрия повторил судьбу лермонтовского Мцыри, взятый в заложники русскими во время Кавказской войны. Мальчик этот был сыном седьмого наиба мятежного Шамиля.

Юрий гордился тем, что хоть и воевал честно, но не убил ни одного человека, и «мечтал не столько о военных подвигах, сколько о мирных странствиях по России и по свету, мечтал о жизни в природе, об охоте, о стихах...»

В конце жизни Лермонтов мечтал о том же.

Ю. Софиев объясняет, почему так близок ему русский поэт: «Пронзительно любил Лермонтова. Читал “Валерик”, всем своим существом отдаваясь этим прекрасным строчкам: “Станный человек! Чего он хочет? Небо ясно. Под небом места хватит всем, но непрестанно и напрасно один враждует он. Зачем?” Эти лермонтовские строки, это “зачем?” запало мне в душу на всю жизнь. Однако мне нелегко было выпутаться из многих мучительных противоречий. Нужно было преодолеть и военное воспитание, и рождение в военной семье, и наследственность многих военных поколений, власть традиций, власть привычек военной среды и т. д.»

Со многими Ю. Софиев был «демоном», но только не с Еленой. Тут и любовь, и духовное родство, и общая жизнь, а не просто увлечение или одна страсть, которая быстро улечивается, едва на горизонте появляются новые Музы. Тут – нежность. Чувство его к Елене не погасло и через многие романы, даже те, когда он становился «лунатиком» и терял голову.

Их любовь – тоже «птица, залетавшая к ангелам».

В архиве Ю. Софиева сохранилась записка 1944 года от Елены Люц, довольно интимного содержания. Юрий в это время был на принудительных работах в Германии, и Елена писала ему туда. Значит, особые отношения начались у них ещё до того времени. Возможно, их сблизило участие во французском Сопротивлении, куда вовлёл Елену с Юрием поэт и учёный Борис Вильде (Дикой).

Борис Вильде был не очень большой поэт, но человек – героический. Он один из организаторов и главное действующее лицо Резистанса-Сопротивления (слово «Резистанс» придумано им).

Вильде был хорошим знакомым Юрия Софиева. Работал в Музее человека, куда обещал впоследствии устроить сына Юрия, Игоря. Именно в этом заведении в 1940 году был создан подпольный штаб Резистанса. Вильде был расстрелян фашистами, и во время расстрела отказался от повязки – он с презрением глядел в глаза смерти. Он стал национальным героем Франции.

И вот на фоне этих трагических событий, когда и Юрий с Еленой могли погибнуть в любой момент, ведь они прятали у себя русских подпольщиков – военнопленных, бежавших из немецких лагерей, переправляли их потом в безопасную зону, как и евреев, обречённых на уничтожение, на этом фоне развивается их запретное чувство. Запретное, потому что они ничего не могут изменить: у Юрия только что умерла жена, есть сын-подросток, которого надо поднимать, на его попечении и престарелые родители жены. У Елены – больной и нетрудоспособный муж и выживающая из ума старая мать. Семья!

В той же стопке, где лежала записка Елены 1944 года, есть ещё несколько записок, более позднего времени, когда Юрия уже интернировали из Германии во Францию. По запискам понятно, что они встречаются тайно, урывками, что и у

Виктора Мамченко появилась «подружка» – Елизавета Владимировна Ионова, но семья Мамченко-Люц продолжает существовать. Они принимают гостей – семейные пары, для этого Еленой готовится всегда застолье, но её эти «семейные обеды напоказ» стали раздражать, и она всячески старается увильнуть от обязанностей гостеприимной хозяйки.

Да, они с Виктором по-прежнему живут не только под одной крышей, но и общей жизнью. Елена знает о его творческих делах. Заботится о его здоровье. Ведёт хозяйство. Она основной добытчик средств к существованию. Но при этом – назначает свидания Юрию, добавляя: «В этот день Виктора не будет дома». Убегает с ним в Медонский лес. Когда-то по соседству с ними, в Медоне, жила Марина Цветаева, и они иногда встречались с ней в этом лесу и беседовали. Тогда и Юрий жил в Медоне. Мой муж, ребёнком, видел Цветаеву, запомнил её чёлку до глаз, её резкие губы. Марина Ивановна помогала редактировать стихи его матери, и Ирине Николаевне её редактура не понравилась, хотя стихи Цветаевой она любила.

Кстати, недавно в пригородах Парижа – в Медоне и Ванве – были открыты памятные знаки Марине Цветаевой по инициативе профессора Сорбонны Вероники Лосской и студентки факультета режиссуры Сорбонны Александры Свининой, о чём сообщила мне исследователь русского зарубежья И. М. Невзорова.

Юрий, сначала с Ириной, а потом с Еленой, часто заходил в медонскую церковку св. Иоанна Воина, распisanную Юлией Рейтлингер.

А ещё, в пору молодости, в Медонском лесу поэты устраивали пикники, инициаторами которых были Виктор с Еленой.

Вот как об этом пишет один из участников таких пикников, Б. Унковский, в газете «Рубеж» (1936 г.):

«Виктор Мамченко круглый год живёт в Медоне. Вокруг его деревенского жилища и зимой растут какие-то зелёные кусты, а в нескольких минутах ходьбы находится Медонский лес. И потому кто-нибудь из парижских поэтов навещает Мамченко всякое воскресенье.

На корпоративных началах покупается вино и закуска. И с бутылками и провизией компания устремляется в лес. Там горы, овраги, живописные лужайки и непроходимая густая заросль. Излюбленное место – озеро, окружённое вековыми деревьями, под которыми всегда полумрак, так как густая листва не пропускает солнечных лучей. Приятно расположиться на траве, пить вино и петь весёлые студенческие песни!

И русский, и французский Медон хорошо знают наших поэтов. И как бы ни разгулялась компания в лесу – сторожа ей не мешают: наблюдают дурашливые выходки и забавные шалости, добродушно посмеиваясь в бороду и держась на почтительном отдалении...»

Но потом всё разладилось. Кто-то умер от болезней и нужды. Кто-то погиб в газовых немецких камерах. Кто-то уехал в Россию и пропал там. Много горя. Много потерь. Но любовь ни о чём не хочет знать. Любовь жива сама собой.

«1944 год.

Родной Юрий, сижу одна... На дворе солнце, а мне нехорошо, гадко. Вчера арестовали мужа Ионовой. В. (Виктор Мамченко. – Н. Ч.) вернулся поздно. Арестовали, думаю, из-за “чёрного рынка”. Виктор никакого сочувствия к пострадавшему не проявляет, говорит, что через несколько дней его вызовут. Сле-

довательно – несколько дней вечера у В. будут заняты (может быть, я ошибаюсь). Нехорошо мне оттого, что я не вижу, как и чем всё это закончится. Знаю, что поступаю нечестно, но мне надоело жить для чужой радости. Сейчас мне хочется быть с тобой, говорить о том, что близко тебе, надоело постоянное присутствие третьего, а что делать – не знаю...

Подумать глубже, и выходит ерунда: Ионова в зависимости от мужа, т. к. В. не может её обеспечить, в зависимости от отца детей, т. к. у неё болен брат и ей нужно много денег. Виктор должен оставаться со мной, т. к. болен. Вот в этой неразберихе лжи мы и живём уже около двух лет. Теперь ещё впутываем и тебя. Не надо этого! До сих пор ты не был особенно счастлив. А теперь, Юрий? Последнее время ты сильно изменился, тебе гораздо хуже, чем раньше! И это отчасти моя вина. Если не поздно, то постарайся не со мною остаться – так жить очень тяжело. Для меня нет другого пути, ты же сейчас свободен. Помочь тебе я не могу, т. к. живу только урывками наших встреч, а между ними вновь и вновь повторяю, брежу пережитым.

Вот, родной, это всё, на что я сейчас ещё способна. Ревность, горе – всё это будет, но зато ты не будешь в этом болоте. Только одно – не надо мне лгать, не надо скрывать. Недоверие самое для меня тяжёлое.

Целую тебя крепко. Лена».

(Из Медона в Париж. Даты нет, но Юрий уже во Франции, значит, послевоенное время – Н. Ч.)

«...Вспомнила нашу прогулку. Твой отклик нежности... Знаю, что ты в моё отсутствие иногда думаешь обо мне с волнением, а при мне – молчишь. Моя ли это вина? Или прошлое тебя ещё так прочно не отпускает?.. По твоему характеру я знаю: всё, что осталось, это та нежность, которая не может вылиться в ненормальность нашего положения. А мне нужно, чтобы наша “Встреча” осталась бы навсегда, нужно, чтобы не было разлуки и тогда, когда она наступит. Скажешь: мала пташка! Помнишь, ещё в Германию я тебе писала, что боюсь скуки обыденного... Боюсь, что когда-нибудь ты подумаешь об упреках: но тогда бы вышла чепуха, т. к. волнует меня не твоё ко мне отношение, а только одно: я не могу дать радости, дать счастья. Страшит и безысходность, то, что очень скоро должно что-то произойти, и тогда, вот тогда мне не хочется быть “прошлым”. Я хочу (через все препятствия, через смерть) – хочу, чтобы ты прошлое сделал настоящим. Вот если когда-нибудь это случится, тогда я буду знать, что такое счастье – и главное, что и небо-рай так же близки, так же ощутимы.

Хочется всё это не призрачно. Не любя, ты не поймёшь, не сможешь.

Целую крепко. Лена.

Приходи в свободный вечер, в воскресенье, в Медон. Мама у меня уже перевернула весь дом вверх ногами. В диспансере – для тебя есть кусок сала».

(Без даты, но из того же времени, из Медона в Париж. – Н. Ч.)

«Дорогой Юрий, произошло не предвиденное нами событие. Говорят, что преступник всегда сделает ошибку, которая его погубит. Попалась и я...»

Из письма следует, что после велосипедной прогулки они с Юрием вернулись в «козью хатку». Виктора не было. Елена, устав от дороги и любви, неожиданно

для себя заснула. Может, заснул и Юрий. Но когда Елена стала просыпаться, то услышала разговор: Юрий говорил с Виктором. Она поймала только обрывок фразы: «...По дороге в Carcassonne я преодолел все трудности с радостью, а вот когда Лена захотела поехать по дороге, которая мне не нравилась, у меня совсем упало настроение».

Елена пишет в записке: «Я могла бы проснуться, но опять провалилась в бездну...»

«...И вот, когда ты ушёл, – пишет она, – Виктор вдохновенным голосом объявил мне, что ты не знал, куда деваться от смущения...

Слушая его, я невероятно мучилась, но – горе моё: мне совсем не было стыдно...»

Она чувствовала себя «воздушным шаром», который может перенестись на другую планету. Она парила. Она вся была в состоянии пережитого счастья, и голос Виктора доносился до неё, как сквозь туман. А Виктор – угрожал.

«...Когда Виктор читал мне нотацию о распушенности, о безобразии... я думала: тут-то и настал мой конец...

Хватило сил выдержать замечание: о моём эгоизме, о твоей горечи, с которой ты рассказывал о нашем путешествии, об упрямстве ехать по гадкой дороге...»

Значит, Юрий пытался выгородить Елену, пытался убедить друга, что прогулка с его женой была безобидной и сугубо дружеской и даже утомила Юрия, потому что Елена всё время портила удовольствие от велосипедной вылазки. Виктор сделал вид, что поверил ему. Но оставшись наедине с Еленой, не скрывал своей ревности и ярости.

«...До часу ночи он мучил меня расспросами, – пишет Елена, – с точным планом, о нашей прогулке в лесу... И только под конец – когда я его попросила хотя бы пять минут помолчать – тут только он сообразил, где мы были.

Вот, Юрий, приблизительно всё. Но... мне стыдно и гадко, настолько, что я не рискую тебе писать о той радости, которой с такой силой я была переполнена весь день и которую боялась потерять в присутствии Виктора.

Трудно представить, что бы я вынесла, если бы мы не были так близки, если бы я тебя не любила так сильно. И всё же, Виктор прав – действительно, это распушенность...

Целую крепко, и с нетерпением жду утешения моей совести.

Лена.

В среду у меня опять выходной день».

ВОЗВРАЩЕНИЕ. «ДРУГИЕ РУССКИЕ»

А потом наступил 1955 год. В конце этого года Юрий с семьёй сына Игоря и свёкром Н. Н. Кноррингом уехал на Родину. Они вернулись домой!

У Николая Николаевича Кнорринга в Москве жили родственники – семья известного художника Д. А. Шмаринова. Мать Шмаринова, Елена Владимировна, была родной сестрой Марии Владимировны Кнорринг, жены Николая Николаевича. (Было три сестры, как у Чехова: Нина, Мария, Елена. Нина и Мария вышли замуж за братьев Кноррингов: Николая и Бориса, а Елена – за Алексея Шмаринова.) Год назад Николай Николаевич похоронил жену, свою любимую

Марусю, и ничего больше не держало его на чужбине. Боль ещё не утихла. Он хотел разделить своё горе с сестрами Марии Владимировны, Еленой и Ниной, они жили рядом, там же и его племянница Гали Мышецкая, и племянник Олег Кнорринг – дети его родного брата Бориса, пропавшего без вести. Семья.

Пришла пора сделать более подробное отвлечение на семью Кноррингов, к которой был родственно причастен Юрий Борисович Софиев, и его в этой семье любили. Большая часть его жизни была связана с Кноррингами. Самая главная, самая лучшая его любовь – Ирина Кнорринг. Жена его и мать его единственного сына.

Судьбы всех Кноррингов достойны отдельного романа – в них отражена драматическая история России. Но я ограничусь небольшим рассказом.

Есть версия, что Николай Николаевич надеялся на помощь родственников в устройстве на Родине, в Москве. Особенно надеялся он на влиятельного племянника, Дементия Шмаринова, но его ждало горькое разочарование, и он якобы был обижен на московских родственников.

Версия эта трактуется так: мол, племянник Н. Н. Кнорринга, Дементий Алексеевич Шмаринов (Николай Николаевич называл его по-домашнему Дёма), был лауреатом Сталинской премии, на виду и в почёте, а родственники-эмигранты могли бросить тень на его безупречную карьеру. К тому же родной брат Николая Николаевича, Борис Николаевич Кнорринг, и племянник, Игорь Борисович Кнорринг (дядя и двоюродный брат Д. Шмаринова), были репрессированы. Борис Николаевич умер в Казахстане, предположительно, в городе Актюбинске, но следов не найдено. Сын Бориса, Игорь Кнорринг, был расстрелян чекистами под Самарой.

Может, Игорь бы и не попал в жернова карательной машины, если б не его тоска. По некоторым сведениям, Игорь, скучая по родным местам, приехал как-то в бывшее самарское имение Кноррингов, в деревню Елшанку. В Елшанке прошло его счастливое детство.

«Мой воздушный замок – семейный очаг, ключ от замка – Елшанка», – писала Ирина Кнорринг в Дневнике. Она обожала Игоря, каждое лето они проводили вместе, а с ними и другие дети Бориса Николаевича и Нины Владимировны Кнорринг: Нина, Олег, Гали. Есть фотография в семейном архиве, где они сидят, обнявшись, и светлы их детские личики от безмятежной радости и родственной любви.

Мать Игоря, Нина Владимировна, которая давно уже не жила с мужем, Борисом Кноррингом (он ушёл из семьи, работал в заповеднике Аскания-Нова), до последней возможности оставалась в родовом поместье Кноррингов, и бежала, подхватив детей, когда начались смутные дни революции и Гражданской войны. Семья оказалась в Сибири, сначала в Омске – под крылом Колчака, потом в Иркутске.

Страшную картину увидел Игорь Кнорринг, приехав в Елшанку. Барский дом был сожжён, школа, построенная Кноррингами, в запустении. Елшанские старожилы вспоминали со смехом, как громили барскую усадьбу, как выволокли во двор белый рояль и разбивали его топорами. Зачем? Дикость! Деревенские активисты и сдали Игоря Кнорринга ЧК.

Ирина Кнорринг тяжело пережила гибель двоюродного брата – она об этом узнала в Париже. Игорю посвятила она свою повесть «Двадцатый год», в честь него назвала своего сына.

Вернувшись живым после «Ледяного похода», уцелев после плена и тифа, выжив в глухой Уссурийской тайге, рядом с диким зверьём, где он работал лесником, Игорь Кнорринг был беспощадно и нелепо уничтожен в своём родовом имении, своими же земляками. И о нём осторожно вспоминали в семье Дементия Шмаринова.

Теперь в деревне Елшанке восстанавливается память о Кноррингах. Шведско-немецкие колонисты, они стали православными русскими людьми и много полезного сделали для России. В уцелевшей школе, построенной бывшими хозяевами имения, организован небольшой музей, на собранные добротами средства установлен Поклонный крест – на месте разрушенной большевиками Никольской церкви. И это как бы акт покаяния потомков за деяния предков. Иконку св. Николая Угодника Н. Н. Кнорринг всюду возил с собой. Привёз её и в Алма-Ату вместе с копией иконы «Радость Странным», написанной одним из русских гардемарин в африканском Сфаяте.

В 1955 году тень Сталина всё ещё витала над страной. И семья лауреата Сталинской премии вежливо дала понять, что не очень-то рада бывшим эмигрантам, которые в 20-м году бежали с белыми на Запад. К тому же это были «бедные родственники», и Шмариновы, мол, боялись, что придётся их содержать.

Николай Николаевич рассказывал, что в эмиграции они с женою оказывались порой в такой нищете, что у них даже стульев не было, и они ходили в парк, чтобы посидеть на скамейке.

Шмариновы родственников, конечно, приютили. Ненадолго. И потом подерживали вроде родственные отношения, переписывались, но в гости не звали, и Николай Николаевич страдал.

Такая версия. Попытаюсь объяснить кое-какие пункты этой версии.

Во-первых, в гости звали всё время. Правда, звали, в основном, Елена Владимировна Шмаринова и Нина Владимировна Кнорринг – сёстры жены Николая Николаевича, пока были живы. Они и писали чаще всех. Их с Николаем Николаевичем связывали общие воспоминания о молодых годах в Елшанке.

Во-вторых, когда родственники-эмигранты пожаловали в Москву, Шмариновы жили в сильной тесноте. И хотя у Дементия Алексеевича была отдельная и довольно просторная квартира, она превратилась в коммуналку. Здесь обитали, по сути, несколько поколений.

Жена Дёмы, судя по отзывам Елены Владимировны, командовала «парадом», была женщиной властной и могла выражать недовольство ещё большим уплотнением семьи. Она вроде бы говорила, что вообще не любит никаких родственников. К тому же Дементий Алексеевич много работал. Художник, он, несомненно, нуждался в сосредоточенном уединении, покое, тишине, а это было невозможно посреди семейного Вавилонского столпотворения, и он сбежал на свою дачу в Абрамцево, где с ним поселялся и «дядя Коля». Дёма снабжал его автомобилем, и по Москве Николая Николаевича возили, но принять его в свою семью насовсем Шмариновы не могли, как и его внука Игоря – с женой и двумя детьми.

Наконец, надо представить себе обстановку тех лет, когда Н. Н. Кнорринг и Софиевы прибыли из Парижа в Москву. Это всё же 1955 год! Ещё нет реабилитации тех, кто сидел по 58-й статье, ещё заграничные родственники – опасны. Шмариновы, например, неохотно общались с дочерью Бориса Кнорринга, Ниной, которая жила на Западе, в Дании, и по временам наезжала в Москву.

Недоразумения в отношениях Нины с роднёй связаны и с их долгой разлукой. Более двадцати лет не виделись. Когда ей, наконец, удалось приехать в Москву, Нина ожидала счастливых слёз, восторгов, долгих разговоров, как бывало в детстве. А встреча получилась неожиданно для всех сдержанной. Нина пишет Н. Н. Кноррингу, что ей приходится постоянно соблюдать особый такт и дипломатию, чтобы не вызвать нервных вспышек, что она стала семье чужой, и что только он может понять её, так как сам пережил жизнь на чужбине.

В Дании о Нине говорили: «Вы странная, вы ни на кого не похожи». Странной и ни на кого не похожей стала она и на Родине, как и Н. Н. Кнорринг, которого она сравнила с одинокой берёзой, оставшейся посреди вырубленного леса.

В полуюмористической книге одного французского писателя «Наши гости-иностранцы» целая глава посвящается русским эмигрантам – странным и необъяснимым:

«Если незнакомец, заговорив с вами, особенно вежливо поднимает шляпу, если он улыбается вам с какой-то неподражаемой, обворожительной приветливостью, можете быть уверены – это русский... У русских есть тайна, объяснить которую мне до сих пор не удалось. Они объясняются на довольно чистом французском языке, иногда щеголяют даже изысканными выражениями в стиле XVIII века, но время от времени пересыпают свою речь загадочным словом “ну”... Иногда, слушая чей-нибудь рассказ, русские нетерпеливо перебивают:

– Ну?

– Ну?

– Ну?

В том смысле, как мы сказали бы: “et alors?” Если вы услышите это “ну”, знайте – перед вами русский.

Дамы ходят почти всегда в поношенных котиковых мантиях. Мужчины целуют им руки даже во втором классе метро.

Лучше всех знают русских наши консьержки. Они и любят их, и ненавидят. Любят за широту. Нищий с берегов Москвы-реки даёт на чай больше, чем банкир с берегов Темзы или Шпрее. Но зато этот нищий способен в три часа ночи запеть во весь голос “Боже, Царя храни”, а часом позже спуститься и, постучав в дверь, любезнейшим голосом справиться, не было ли для него сегодня писем, и не приходил ли к нему вчера господин Иванофф?»

«Странность» свою Нина объясняет русским характером, который на чужбине не переменялся. Нина не стала датчанкой. Но и советской тоже себя не чувствовала. Она была – русской. Русской – из романов Тургенева и Толстого, из цитаты Достоевского о всемирной отзывчивости русских.

Нина была – «странной». Нина была – «другой русской», как и Н. Н. Кнорринг, как Ю. Б. Софиев.

Мать Нины, отвечая на жалобы Николая Николаевича, что он одинок, что ему не с кем разговаривать, сухо отвечает – и в этом ответе есть одно из объяснений, почему она холодно встретила заграничную дочь: «Коля, ты в Париже привык

сидеть по кафе, пить кофе и праздно беседовать. А у нас не так. Нам некогда сидеть по кафе и болтать. Мы работаем. Мы всё время работаем...»

И одна из племянниц Николая Николаевича тоже укоряет его: «Привыкли вы жить, как в Париже. Всё у вас, как я посмотрю, на парижский лад... И, видно, там у вас было много свободного времени, если вы могли разбираться в себе и в своих переживаниях, а нам некогда во всём этом копаться!»

Конечно же, всё было не так. Уровень жизни в Западной Европе, несомненно был выше, чем в СССР в конце 50-х – начале 60-х годов, но чтобы достойно жить, и там надо было много работать.

Кстати вспомнился очерк Марка Алданова «О положении эмигрантской литературы», где он пишет: «Почти все писатели, покинувшие Россию после большевистского переворота, в эмиграции работают, как умеют, – исключения не составляет даже 90-летний В. И. Немирович-Данченко...»

Спустя годы Нина Борисовна Кнорринг напишет книгу о своей семье «Мой русский дом», которая выйдет в Копенгагене, на языке чужой страны. (Отрывки из книги публиковались в журнале «Простор».) Напишет просто, без пафоса и суда над победившими и побеждёнными, без гнева, без проклятий судьбе и с великой любовью к своим близким, ко всем людям, что прошли через её жизнь.

Такой была культура памяти у этих людей, воспитанных в дворянских усадьбах.

И в книге этой есть фотография из далёкого детства в Елшанке, где сидят, обнявшись, дети Бориса Кнорринга: Олег, Гали, Нина, Игорь и с ними маленькая девочка – Ирина Кнорринг, их двоюродная сестрица. Прелестные чистые личики. Никто из них ещё не знает своей страшной судьбы...

* * *

Возможно, между Николаем Николаевичем и семьёй Шмариновых, как и у Нины Кнорринг с её родственниками, не сразу установились тёплые отношения также по причине долгой разлуки. В последний раз они виделись в июне 1918 года в Киеве. Две семьи – Кнорринги и Шмариновы – вместе с детьми отправились в паломничество по монастырям, будто прощались со старой Россией, с прошлой своей жизнью, ещё не зная о том, что прощаются. Дёма делал зарисовки в блокноте, а юная Ирина написала потом стихи о радостной семейной экскурсии – среди великолепной природы, белых церквей, вечернего колокольного звона, который вызывал светлую грусть. Но детство есть детство! Пока взрослые вели свои тревожные разговоры о надвигавшейся войне, устроив пикник в тени старых дубов, дети носились по лугу, смеялись, и звонкие их голоса вселяли надежду: может, всё-таки не будет войны?

А потом грянул 20-й год. Мир перевернулся. Гражданская война, голод, разруха, аресты, расстрелы, годы разлуки. Их семьи раскидало по свету: Николай Николаевич Кнорринг с Марией Владимировной и 14-летней Ириной оказались в Африке, затем – во Франции, Шмариновы с Украины переместились в Москву, Борис Кнорринг – в ссылку, в Казахстане, а семья его – в Сибири, куда бежала, спасаясь от красной расправы.

С тех пор прошло тридцать пять лет. Теперь все стали «другими русскими», непонятными друг другу и, может, даже враждебными. Вот, вычитала у корейского поэта Ко-Ына – многие люди его страны тоже стали вынужденными эмигрантами:

Люди покидают Родину –
Один за другим,
И становятся другими людьми...

Н. Н. Кнорринг и Ю. Б. Софиев, вернувшись на Родину и признав социализм, всё же так до конца и не сделались советскими людьми, и это вполне объяснимо. М. Алданов писал о русских эмигрантах: «Для нас, кроме огромного минуса, есть ещё более огромный плюс: мы выиграли – свободу... Эмиграция – большое зло, но рабство – зло гораздо худшее...»

В СССР, несмотря на все декларации о правах человека, продолжалось рабство, с которым люди сжились, и хлебнувшие воздуха свободы эмигранты были чужды на Родине и даже опасны. За ними тут же устанавливался негласный присмотр КГБ.

Но родственность всё же сблизила Н. Н. Кнорринга и Шмариновых. Дёма хлопочет о багаже Николая Николаевича и Юрия Борисовича Софиева – он им перешлёт в Алма-Ату вещи, привезённые из Парижа и застрявшие на таможне. Он купит дядюшке пишущую машинку, что тогда являлось дефицитом, и отправит в Алма-Ату с оказией. Он часто поддерживает Николая Николаевича материально – то 20 рублей ему пошлёт, то 50, а то и 100. По тем временам это приличные деньги. Так что обижаться на Дёму у Николая Николаевича видимых причин не было. Напротив, он, благодарный за внимание к нему, однажды собрал посылку в Москву – яблоки, знаменитый алма-атинский апорт. Шмариновы выражали ему разные восторги и разделили яблоки между всеми московскими родственниками. А уж сколько ободряющих писем написала ему Наташа Шмаринова, его любимая племянница! Она была тоже художница, как и её отец. Одно время жила в браке со своим кузеном, Олегом Кноррингом, который работал фотокорреспондентом в журнале «Огонёк», и, говорят, вырезка с его фотографией висела в комнате Сталина, в Кунцево. Олег несколько раз бывал в Алма-Ате в служебных командировках и посещал «дядю Колю». Но всё равно Николай Николаевич мучился от тоски, свойственной старости. Тоска эта доходила до нервических срывов, и он впадал в грех – хотел покончить с собой, чтобы никому не быть обузой, да, слава Богу, останавливался, писал в дневнике, что не может этого сделать из-за слабоволия: и после смерти любимой жены Маруси, и после перемещения из центра Европы в азиатское захолустье, и после ссор с внуком Игорем, который стал попивать, у которого не ладилась семейная жизнь, – всё это ранило впечатлительное сердце Н. Н., доводя до грешных мыслей. Прожив жизнь в дружной, любящей семье, он с трудом переживал одиночество: у внука Игоря и правнуков Льва и Алексея была своя жизнь, и Н. Н. чувствовал, что не нужен им, что неинтересен, хотя это было не так: они всё время помогали ему, часто приходили – поговорить, поиграть в шахматы, которыми он увлекался, приносили продукты и лекарства, если болел. Да, обижали – но не со зла, а по молодому неразумию. Он их в конце концов прощал, подкидывал денег из гонораров – печатался иногда в газетах и журнале «Простор» – и снова писал в дневнике: «Как я люблю моего Игорёшку – больше всего на свете!», «Как мил Алёша! Как я его люблю!», «По складу моего характера я очень беспокойный, всё время переживаю за своих: день-два их нет – я воображаю разные беды! Хватаю такси и мчусь к ним, и только убедившись, что все благополучны, еду назад и спокойно засыпаю...» Отцовские чувства в нём превышали все другие. Именно отцовская любовь к дочери Ирине заставляла его

жить: он должен был вернуть на родину её творчество! И он старался для этого: уже будучи совсем слабым, когда еле передвигался, когда было ему уже далеко за восемьдесят и сдавало сердце, он ездил в Москву, не надеясь вернуться живым, стучался в разные двери.

Дементий Алексеевич Шмаринов – Дёма – постарался помочь в издании стихов покойной двоюродной сестры, Ирины Кнорринг. В доме художника Ореста Верейского он вручил её рукопись Александру Трифоновичу Твардовскому. Твардовский, как писал потом Д. А. Шмаринов Н. Н. Кноррингу в Алма-Ату, тут же, «не отрываясь и не поднимая головы» сразу же её прочитал. Но напечатать не смог ни одной строки – белоэмигрантка! Хотя Ирина Николаевна ни в какой политической борьбе не участвовала. Он вернул рукопись. Однако когда в Алма-Ате в 1967 году благодаря отчаянной смелости и хитроумному плану редактора издательства «Жазушы» («Писатель») Зои Васильевны Поповой и её начальника – известного казахского поэта Аманжолы Шамкенова вышла тоненькая книжка стихов Ирины Кнорринг, Твардовский тотчас же опубликовал отклик на неё в своём журнале «Новый мир» – тогда главном литературном издании страны.

Дементий Алексеевич сделал эскизы для этой книги, но они не были использованы казахстанским издательством, так как имелось уже оформление, единое для всей серии «Новые стихи». Как Н. Н. мог обижаться на своих московских родственников? И, наконец, предсмертные записки Николая Николаевича говорят о бесконечной любви его к близким. Последняя запись дневника кончается молитвой: «Господи, будь милостив ко всем нам, помилуй и сохрани нам всем мир и любовь. Господи, помилуй! Господи, помилуй, не допусти до ужаса...»

Он умер на руках внука Игоря, успев осенить его крестом, и сам перекрестился слабеющей рукой.

Но до финала, до печального одиночества и смертного «ужаса» ещё далеко – целых 12 лет, за которые будет немало сделано, написано, передумано. А сейчас – 1955 год. Навсегда покинув Париж, где остались дорогие могилы жены и дочери, Николай Николаевич Кнорринг ходит по Москве, узнавая и не узнавая её. Здесь прошла его студенческая молодость, учёба в МГУ и вообще лучшие годы жизни. Он счастлив! Он дышит самым замечательным на свете воздухом своей России! И всё же переживает, что стеснил Шмариновых...

* * *

А Юрий Софиев в это время не мог наговориться со своим другом юности Ильей Голенищевым-Кутузовым. Илья приходился внучатым племянником знаменитому фельдмаршалу М. И. Кутузову и сам себя называл «наследственным патриотом». Познакомились они с Юрием в Югославии, будучи студентами Белградского университета. Оба писали стихи. Юрий с Ильей и другим общим приятелем, Алексеем Дураковым, организовали кружок молодых поэтов «Гамаян», а потом сумели издать одноимённый сборник, где впервые были напечатаны их стихи (1923 г.).

У Алексея Дуракова Юрий Софиев помнил одно длинное стихотворение о любви, которое начиналось так: «Стали дни по-весеннему долги, / Синеватые вечера. / Ночью звёзды, точно осколки / Золотистого серебра...» А финальные строки: «Приходят Дант и Беатриче, / Как гости светлые ко мне...»

Вот как описывает Ю. Софиев А. Дуракова в своих «Разрозненных страницах»: «...Алексей с первой же беседы мне понравился необычайно. Стройный, высокий красавец, блондин, с военной выправкой, с очень тонким удлинённым лицом, с прямыми, аккуратно подстриженными, не вьющимися волосами, расчёсанный на самый банальный, косой пробор. Ничего в нём не было пошлого, искусственного, фальшивого. Он был прост, сиял жизнерадостностью, очень живой и подвижный, но становился несколько экзальтированным, как только дело доходило до стихов. Стихи свои и в особенности любимых поэтов он мог читать при любых условиях. Мы очень быстро сошлись, обнаружив во многом сходство взглядов и вкусов...»

В 1928 году, уже в Париже, Ю. Софиев посвящает Алексею Дуракову стихотворение, в котором пытается заглянуть в будущее, весьма скептически относясь к своему творческому наследию и называя его «хламом». Вероятно, они с Дураковым говорили об этом – потому и посвящение ему. Юрий Софиев не обольщался насчёт своей посмертной славы – в отличие от Голенищева-Кутузова и, может быть, Дуракова.

В молодости будущее кажется лучезарным, но Ю. Софиев и в молодости относился к себе довольно иронично и лишён был самодовольства, возведения себя в гении, столь распространённого в поэтической среде. Заслуживающими внимания потомков считал он только свои странствия и боевые сраженья.

АЛЕКСЕЮ ДУРАКОВУ

Весь этот хлам – осадок дней –
 Дневник, стихи, листки альбома –
 Найдёт среди других вещей
 Мой любознательный потомок.

Разобранные взяв бумаги,
 Он скажет: «Дед мой, эмигрант...»
 И собеседника стакан
 Весёлою наполнит влагой.

О странствиях и о сраженьях
 Речь поведётся за столом.
 Расплещется воображенье,
 Разгорячённое вином.

Кивком укажет на архив,
 Подвинет пепельницу ближе
 И скажет: «Дед писал стихи
 И прожил много лет в Париже...»

Вскоре друзья вошли в литературный кружок «Одиннадцать», который возник по инициативе их учителя – профессора Е. В. Аничкова и объединял не только поэтов, но и художников, и поклонников театра, и музыкантов. Е. В. Аничков надеялся: из дружеских отношений «Одиннадцати» сложится идейная близость в искусстве, что и произошло.

Когда Юрий перебрался в Париж, он продолжал дружить с Ильёй Голенищевым-Кутузовым, Алексеем Дураковым, Владимиром Гальским и другими участниками «Одиннадцати». Они совершенствовались своё поэтическое мастерство, печатались в эмигрантских изданиях.

В 1936 году у Юрия Софиева в Париже вышел сборник «Годы и камни». Книга названа по одноимённому стихотворению, посвящённому Илье Голенищеву-Кутузову, где есть такие строки: «Ещё пожара потушить не могут, / Не всколыхну лась ночь, метёт метель, / А мы уже выходим на дорогу, / Упрямолюбых мастеров артель...», а выходят они для того, чтобы преобразовать «хаос первозданный в геометрически послушный строй...»

Стихи – о средневековых строителях «соборов и городов», но ясно, что и о себе пишет поэт, о своих братьях по перу: «Но ясен образ мастера и мага, / Творящего ещё не бывший мир...»

О. Денисова в статье «Поэзия Ю. Б. Софиева в восприятии современников» (*Вестник филологического факультета Орловского государственного университета, 2007 г.*) сообщает о том, что Юрий Софиев писал о Голенищеве-Кутузове и других белградских поэтах, о сборнике «Литературная среда» в 1938 году, в журнале «Русский современник», который являлся органом «революционной монархической мысли».

«Этот критический отзыв о творчестве И. Голенищева-Кутузова, Е. Таубер, В. Гальского был подписан псевдонимом Алексей Бекчеев, не зафиксированным ни одним из авторитетных библиографических указателей...» – делает открытие О. Денисова.

Скорее всего, псевдоним этот – Алексей Бекчеев возник вот как. Алексей – имя, которое всегда было в памяти и сердце Ю. Софиева. Так звали его фронтового друга. Друг погиб на Гражданской войне. Алексеем хотел Юрий Борисович называть своего сына, но жена решила иначе и дала имя в честь своего двоюродного брата, Игоря Кнорринга, трагически погибшего от рук чекистов. Но Алексей всё же появился в семье Софиевых – первого внука назвали Алексеем, и потом – правнука. А что касается Бекчеева, то это, наверно, производное от приставки «Бек» к фамилии Софиев – Бек-Софиев. Так появился Алексей Бекчеев.

Там же О. Денисова пишет: «Как поэт и руководитель “Союза молодых...” Ю. Софиев являлся заметной фигурой в литературном процессе русского зарубежья. После издания его книги “Годы и камни” в парижской печати появились литературно-критические отзывы Г. Адамовича, М. Цетлина и Ю. Мандельштама...»

Г. Адамович, который строит в своих оценках, замечает у Ю. Софиева и «прозаичность стиля», и «трудность вдохновения», и другие «несовершенства», однако в конце концов прощает эти «несовершенства» и обращает их в пользу поэта. Он их находит «художественно мотивированными и подчинёнными эстетическим задачам». В финале своей рецензии Г. Адамович высоко оценивает поэзию Ю. Софиева, подчёркивая главное в ней: «У Софиева есть тема, схваченная глубже, чем у большинства поэтов его поколения, достигших, может быть, более заметных успехов в узко литературном смысле слова...»

И тема эта – тема эмиграции. «Но без искажения, без снижения, – уточняет Адамович, – к которому, что скрывать, приучили нас профессиональные излагатели в рифмованных строчках средне-эмигрантских чувств! Софиев выражает и

отражает действительно то, что может наполнить сознание человека, застигнутого в молодости революцией...»

«В “трезвой, скромной поэзии” Софиева критик выделял “какой-то лиризм, чистый и очень совестливый, очень русский по тону”», – пишет О. Денисова.

Годом раньше Ю. Софиева, в 1935 году, Илья тоже выпустил первую книгу своих стихов «Память» – с предисловием Вячеслава Иванова, мнением которого очень дорожил. Вячеслав Иванов был его кумиром с самой ранней юности, ещё с Петербурга. Кроме того, Илья всерьёз занялся наукой. В 1933 году защитил в Париже докторскую диссертацию о ранних влияниях итальянской литературы Возрождения на французскую литературу. Он переводил Данте (с оригинала) и стал впоследствии крупным дантологом. Он изучал славянские литературы, также зная несколько славянских языков. И здесь он добился блестящих успехов. В 1934 году был избран приват-доцентом Белградского университета.

Алексей Дураков, как и Голенищев-Кутузов, остался в Югославии. Он геройски погиб в одном из партизанских боёв Великой Отечественной войны.

В «Разрозненных страницах» Ю. Софиев пишет о нём:

«В 1944 году поэт пал смертью храбрых в бою с гитлеровцами за югославским партизанским пулемётом, расстреляв до последнего патрона свои пулемётные ленты.

В Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии, значится и А. Дураков. Он награждён посмертно орденом Отечественной войны 2-й степени (18 ноября 1965 г.).»

Сведения эти взяты Ю. Софиевым из журнала «Родина», где была напечатана и статья М. Баратовой «Поэзия света», посвящённая творчеству Алексея Дуракова. Она писала: «Духовная связь с русской литературой никогда не прерывалась в творчестве Дуракова. Почти всю жизнь прожив в чужой культурной среде, поэт не растворился в ней. Тщетно искали бы мы в стихах Дуракова западные влияния. Его поэзия – ясной простотой языка, образным строем, певучестью – всеми своими корнями уходит в русскую почву. Это неизменно чувствуется как в ранних, так и в поздних стихах Дуракова. Сердце поэта никогда не покидало отчего дома...»

Читая эти строки, Юрий Борисович вспомнил о признании художника Ивана Билибина, как трудно на чужбине сохранять русскую самобытность и вообще оставаться художником:

«Как-то, в тридцатых годах, возвращались мы втроём – мой университетский учитель профессор Е. А. Аничков, И. Я. Билибин и я – с какого-то русского сборища. Шли пешком по ночному Парижу. Говорили о красоте этого замечательного города, а потом Иван Яковлевич сказал:

– А вот не могу я работать здесь, в Европе всюду коммерция, её требования предъявляются к художнику, требования, никакого отношения к искусству не имеющие. А я всю жизнь был “попиком”, бескорыстным “священнослужителем искусства”».

В 1938 году И. Я. Билибин вернулся на Родину и умер в блокадном Ленинграде.

Таковыми же «бескорыстными священнослужителями искусства», как Иван Билибин, были и Алексей Дураков, и Юрий Софиев, и Илья Голенищев-Кутузов.

Илья тоже отличился в годы войны. Он активно участвовал в подпольном антифашистском движении – «Народном фронте», которым руководили коммунисты. В конце 1941 года он вместе с тридцатью профессорами-антифашистами Белградского университета был взят в заложники и брошен в концлагерь гестапо «Баница». Ему удалось вырваться оттуда, он уходит в партизаны, участвует в боях за Белград, продолжая военную доблесть своего рода, ведь и отец его, Николай Ильич Голенищев-Кутузов, за храбрость в Первой мировой войне был награждён тремя георгиевскими крестами, а уж о подвигах фельдмаршала Кутузова в войне 1812 года знают все! Кстати, отец Ильи был очень похож на Кутузова. «Человек он был – плотный и грузный – весьма решительного, сурового, а в семье даже грозного характера. Профилем напоминал своего славного предка, фельдмаршала Михаила Илларионовича, каким он изображён на ксилографии Фаворского», – вспоминал Ю. Софиев.

Илья Николаевич Голенищев-Кутузов раньше Софиева вернулся в Россию (в 1954 г.). На Родине он продолжил свою научную деятельность, работал в Институте мировой литературы АН СССР, стал выдающимся советским учёным. Сбылось его юношеское пророчество времён «Гамаюна», над которым потешались тогда молодые друзья Ильи, Алёшка Дураков и Юра Софиев:

Зелень святая вечного лавра
Увенчает кудри мои.

Илье было 19 лет, когда писались эти строки. Кудри в самом деле имелись – они вырывались тёмно-каштановыми вихрями из-под широкополой шляпы. Илья изображал из себя «мэтра», более образованного и более сведущего в поэзии, чем его друзья, хоть был моложе их на пять лет. Он щеголял в настоящем чайльдгарольдовском крылатом плаще из хорошей английской материи, широкою полу которого можно было закидывать за одно плечо. Он и закидывал, проходя мимо общежития, где в сильной тесноте ютились его друзья. Сам Илья жил в семье, был сытно накормлен, одет (отец его работал нотариусом), и ему не надо было после занятий в университете где-нибудь трудиться, как другим, чтобы не умереть с голоду – студенческие пособия и обеды были весьма скудными. Рядом с Ильёй, наряженным хоть и экзотически, но всё же прилично – у него имелся и партикулярный костюм, остальные студенты выглядели убого. Они донашивали многострадальные военные френчи и гимнастёрки, «толстовки» и «бранные остатки гардемаринового обмундирования». Но жили весело.

Юрий рассказывал в обществе девушек, что когда они с Алёшкой провожали Илью во время летних каникул на дачу, то он, высунувшись в окно поезда, давал им ценные указания, что читать, о чём думать и как писать стихи, а на прощание, когда поезд уже тронулся, протянул им два пальца, за которые они почтительно ухватились, восторженно восклицая: «Да, мэтр! Спасибо, мэтр!» А Илья важно поучал их: «Учитесь! Ведь и меня многому учили!» Это был, конечно, гротеск, пародия. Девушки хохотали. Илья смущался: «Ну, что ты врёшь, Юрий? Ведь всё врёшь, Юрий...»

«В эти годы нашей юности, – вспоминает Ю. Софиев, – было поветрием изощряться в чрезмерном остроумии друг перед другом. Как-то, много позже, в Париже, злой умница Владислав Ходасевич мимоходом заметил: “Не путайте два различных понятия: остроумие и острословие. Остроумие встречается гораздо

реже, а острословие обычно и в чрезмерных размерах очень утомляет”. Это было в одно из “ходасевических воскресений”, когда мы ещё ходили в “молодых” и собирались у Ходасевича...»

Примерно в те же годы, когда наставлял молодых Ходасевич, Юрий Софиев, упражняясь в остроумии, написал эпиграмму на поэта Юрия Терапиано, сбивая с него спесь. Терапиано выдавал себя за итальянца:

Был предок просто Терапьянц
И персиками торговал.
Потомка Аполлон признал –
Стал Терапьяно итальянец!

На самом деле он был греком из Крыма, хотя сестра его говорила, что они армяне и вращались в армянском обществе. Ю. Софиев потом стыдился своей эпиграммы. Он подружился с Терапиано, и дружба эта протянулась через всю жизнь. У Ирины Кнорринг даже есть стихотворение «Двум Юриям», где она немного ревниво и с детской обидой относится к их дружбе, чувствуя себя лишней между ними, приземлённой и не такой умной, как они. К тому же Ирина когда-то была немного влюблена в Терапиано, но он мягко отверг её любовь и питал к ней всегда только дружеские чувства.

Но вернёмся к Голенищеву-Кутузову. Он тоже острил. И особенно – говоря о своём учителе Евгении Васильевиче Аничкове. Они с Аничковым вели бурные споры, переходя с языка на язык и пересыпая речь цитатами. Евгений Васильевич был блестящим учёным и эрудитом, отличали его оригинальность во всём и отменное чувство юмора, отчего иногда возникали у него трения с университетскими коллегами. Он читал студентам на французском языке курс романской фонетики, а на русском – «Русское освободительное движение». Потом увлёкся Лермонтовым, что сблизило его с Юрием Софиевым, написал глубокую научную работу. Она вызвала восторженные восклицания Ходасевича, который редко чем-то восхищался, чаще – язвил и поносил. За это Ю. Софиев называл Ходасевича «злой умник». «Вот, говорят, дурень-автор, а ведь написано и сделано отлично! – хвалил Ходасевич Аничкова за Лермонтова. – Умно, оригинально и профессионально. Нет! Автор молодец, сделано хорошо!» А аттестовал он его «дурнем» потому, что профессор, который прекрасно понимал литературу, который дружил с А. Блоком, Вяч. Ивановым и многими другими известными фигурами русской культуры, не мог критически относиться к собственному сочинительству, что и вызывало раздражение Ходасевича. Над этим же посмеивался и юный ученик Аничкова, Илья Голенищев-Кутузов.

Добрый сердцем, влюблённый в своих учеников, хлебосольный Евгений Васильевич иногда приглашал Илью, Алексея и Юрия в гости. Он жил одиноко, в дачной местности Топчидер – единственная дочь его проживала в Америке, – и вот он накрывал хороший стол, где выставлялись даже сыр и вино. Вечно голодные студенты были рады подкормиться. Но после застолья профессор читал им свои поэмы или романы, что приводило начинающих поэтов в уныние. «Тут фигурировали и длинные чёрные метенги, и чёрные высокие чулки, натянутые до бёдер, множество талантов и, конечно, мистики, смешанной с сексуализмом, и, если мне память не изменяет, – пишет Ю. Софиев в “Разрозненных страницах”, – был сунут и Христос...»

Один из таких романов назывался «Язычица». Илья Голенищев-Кутузов тут же переделал его в «Яичницу». Героиня романа смахивала на дочку профессора,

которая потом приехала из Америки и жила с отцом. В романе она была из времён Ренессанса и водила по городу на цепочке белого завитого ягнёнка.

Юрий с Алексеем вежливо промолчали, слушая чтение, а вот Илья стал разносить роман в пух и прах. И Аничков терпеливо и с уважительным вниманием выслушал его критику, но не остановился в своём тщеславии и творческом заблуждении. «Язычницу» он издал, «на наше большое огорчение, – пишет Ю. Софиев, – потому что, по нашему мнению, это большой славы профессору не прибавило...»

Спустя время Юрий Софиев заметил в своих мемуарах: «Мы были очень молоды, откровенно говоря, очень неопытны, и потому наши суждения о творчестве Евгения Аничкова могли быть весьма сомнительными. К сожалению, у меня под рукой нет материала, чтобы сейчас проверить наши суждения. Может быть, и роман “Язычница” был не так плох, как нам казалось...»

* * *

С годами юношеские высокомерие и резкость в суждениях Ильи Голенищева-Кутузова сменились горькой усмешкой и осознанием того, что все «лавровые венки», о которых он грезил когда-то, – суета сует, когда ты находишься между жизнью и смертью.

Вот письмо его к Ю. Софиеву, из Москвы, от 19 июля 1965 года:

«Дорогой Юрий! Пишу тебе, пребывая в горизонтальном положении на больничной койке. Моё бедное сердце, кажется, разорвалось ещё в одном месте. Недуги стали одолевать меня тогда, когда мне представились возможности поездок, уже не бедным студентом, как встарь, а маститым донельзя профессором, которого с распростёртыми объятиями ждут в Италии, Чехословакии, Бельгии. Работы у меня необъятно: бесконечные заказы на статьи из журналов всего света, договоры на книги, плановые исследования, а я уже третий месяц в этом году созерцаю потолок и думаю о бренности славы и нашей постыдной немощи.

Посылаю тебе, чтоб ты отвлёкся от танцев бесподобных микроскопических созданий (*Ю. Софиев работал художником в Институте зоологии АН КазССР. – Н. Ч.*) и вспомнил грехи нашей “поэтической” молодости, мои переводы Данте. Это была дьявольски трудная работа переводить флорентийца – мастерство, техника и культура стиха изощрённейшие, о каких и помыслить не могут современные поэты – и это сработано 7 веков тому назад!!! Интервью моё “Литературной газете” перепечатали парижские “Русские новости”, но это, в общем, всё суета сует...»

Илья Голенищев-Кутузов говорил о Юрии Софиеве с Алексеем Сурковым, тогда крупным деятелем Союза писателей СССР, чтобы Юрия приняли в члены СП и помогли бы с изданием в России его книги стихов, и вроде получил положительный ответ, но ни членства в Союзе писателей, ни книг – увы! – не последовало. Сурков в этом смысле был довольно равнодушным человеком.

* * *

Целый месяц Юрий прожил у Ильи, так же, как Н. Н. Кнорринг, узнавая новую Москву, бродя по старым улочкам, где сохранилась древность, которую он всегда любил. «Исторические эмоции» владели им с юности. Но экскурсионные восторги отравлялись недавним прошлым, тень которого витала над страной, вползала в души людей, глухим эхом отзывалась в их памяти...

В дневнике 1962 года Ю. Софиев делает такую запись по поводу «страха» московских родственников своего тестя Н. Н. Кнорринга в 1955 году:

«Можно ли винить этих людей? Но как “величайший из величайших” грузин в качестве азиатского деспота нагнал на них такого страха своим “мудрым” правлением, что сумел 200 миллионов граждан обратить не только в каких-нибудь премудрых щедринских пескарей, но почти истребить в них чувство собственного достоинства “ради страха иудейского”?»

Хотя никакого права осуждать их у меня нет. Они жили в страшные времена “слова и дела”, в абсолютной власти “чёрных воронов”. Я-то рос и дышал европейским воздухом, да ещё во Франции. Привычка быть самим собой настолько была естественной, что нас не могли напугать и немецкие фашисты. Их откровенно презирали, не умели скрыть ненависти к ним...

...Хорошо, что у меня нет знатных родичей в России, кроме Екатерины Павловны Пешковой да, пожалуй, Глеба Родионова – директора конного завода, но никому из них я о себе особо не напоминал...»

(Несколько писем от Е. П. Пешковой – жены М. Горького и родственницы Ю. Софиева со стороны матери – хранятся в архиве Юрия Борисовича. Кроме того, к нему, как родственнику Е. Н. Пешковой, неоднократно обращались сотрудники Института литературы АН СССР, которые занимались творческим наследием Максима Горького.)

Но и в 1962 году, когда писался этот дневник, тень прошлого витала над страшной. И в 1962 году ещё не особо говорится о сталинских репрессиях. Я сужу по письмам этих лет Натальи Столяровой к Юрию Софиеву.

О Наталье Столяровой подробно написал Александр Солженицын. Это она под псевдонимом «Ева» была связной между ним и Западом, переправляя туда произведения Солженицына, запрещённые на родине. Он писал о ней: «Дочь известной русской эсерки-максималистки Н. С. Климовой, которая участвовала в покушении на Столыпина, Наталья Столярова родилась в эмиграции и мечтала вернуться в Россию. Вернулась в неудачное время – когда не ехал никто, когда это было безумием явным – в декабре 1934 года, сразу после убийства Кирова! Отец Натальи уже был сослан под Бухару в эсерской куче и вытащен оттуда Е. П. Пешковой, теперь встретил дочь...»

С Юрием Софиевым Наталью Столярову связывала память о поэте Борисе Плавском, который был влюблён в Наталью, и её отчасти винят в его гибели (она уехала в Россию в 1934 году, он умер во Франции – в 1935-м, якобы не пережив разрыва и разлуки с ней), но это, конечно, не так. Причина его смерти другая. Он увлекался наркотиками.

Так вот, Наталья Столярова, приехав в Россию в 1934 году, вскоре пошла по этапу. Но Софиеву об этом рассказывает, как о некоем путешествии по северным районам Казахстана, где жила она в сырых и тёмных землянках и мечтала, что когда вернётся в Москву, то непременно поселится на самом верхнем этаже какого-нибудь дома – рядом с небом и Богом. О севере писала ещё, что её восхищали дикие лошади, гривы которых никогда не оскверняли ножницы. Она жила с ними в добром соседстве, наблюдая их вольный полёт по ковылям, горящим на солнце.

Сплошная поэзия! И ни слова о тех ужасах, которые пришлось ей пережить в «увлекательном путешествии» по ГУЛАГу.

В 1962 году Наталья Столярова работала литературным секретарём у Ильи Эренбурга. Взял он её, как она говорила, из-за знания иностранных языков, к тому же она была подругой детства его дочери (они учились в одной школе в Париже). Дочь и уговорила отца взять Наташу на работу, так как Столярова после отсидки бедствовала и ночевала на вокзалах. Илья Эренбург пожалел Наташу, дал ей возможность вернуться к нормальной жизни. С 1956 года и до смерти была она у Эренбурга на службе.

Именно Наталья Столярова помогла Н. Н. Кноррингу встретиться с Анной Ахматовой, с которой дружила, и передать ей стихи Ирины Кнорринг. Результатом этой встречи был письменный отзыв Анны Андреевны, оценившей по достоинству поэзию Ирины Николаевны: «По своему высокому качеству и мастерству, даже неожиданному в поэте, оторванном от стихии языка, стихи Ирины Кнорринг заслуживают увидеть свет. Она находит слова, которым нельзя не верить. Ей душно на Западе. Для неё судьба поэта тесно связана с судьбой родины, далёкой и даже, может быть, не совсем понятной. Это простые, хорошие, честные стихи».

И сам Юрий Борисович, который гордится тем, что «дышал европейским воздухом» свободы, в очерке «Возвращение на Родину» – для одной из парижских эмигрантских газет – однако тоже умалчивает об «абсолютной власти чёрных воронов». Он опасается преследований. Он пишет о распрекрасной советской жизни, хотя знает и печальные примеры этой жизни. Знает, что друг его по эмиграции, Антонин Ладинский, выдворенный из Франции и вернувшийся недавно на Родину из Германии, не только перестал сочинять стихи, которые были чужды советским людям, но даже и в дневнике боялся писать откровенно. Ему казалось, советская цензура может достать всюду, может проникнуть и в мысли, и в сердце. Была у него такая фобия. Все его попытки написать роман в духе соцреализма, о коммунистическом рае закончились крахом. И он стал писать на исторические темы, чем увлёкся ещё в эмиграции, а также занялся переводами.

Юрий Софиев в дневнике всё же пишет, что думает. В советской жизни ему многое нравится, хотя многое и вызывает отрицание, но в статьях для французской прессы осторожничает. А вот его восторги по поводу месяца, проведённого у Голенищева-Кутузова, в его новой квартире в высотном доме, которую выделило ему государство, вполне искренни, как и рассказы о встречах с московскими «парижанами»: «В Москве я встретил знакомых “парижан”: профессора А. П. Маркова, он работал в Институте экономики АН СССР; И. А. Кривошеина, зная в совершенстве несколько европейских языков и будучи по профессии инженером, он занимался техническим переводом; писателя Л. Д. Любимова, он работал над своей книгой “На чужбине”... Г. Велле, человек “младшего” эмигрантского поколения, “почти француз”, журналист, в Москве работал переводчиком художественной литературы. Встретил я и ещё одного “югослава” – И. И. Толстого, внука Льва Николаевича, мне показалось, что он со своей необычно пышной, седой бородой очень похож на своего великого деда. И. И. трудился в качестве преподавателя славянских языков и работал над составлением “Русско-сербского словаря”. Большинство моих друзей чувствовали себя уже москвичами, “старожилами”, почти у всех я побывал, встречи наши на родной земле были взволнованными и радостными...»

Но Юрий Борисович ни слова не говорит о том, что для Маркова и Кривошеина встречи на родной земле после Парижа были не такими радостными: совсем

недавно они вернулись из советских концлагерей, которые оказались страшнее фашистских. Особенно хорошо это знал Игорь Кривошеин.

«Этот человек играл видную роль во французском Сопротивлении, главным образом, по линии связи между различными группами Сопротивления – французами, русскими эмигрантами и советскими партизанами из военнопленных, – пишет о нём Ю. Софиев в своём дневнике. – Ему удалось связаться с немецким антифашистом, работавшим во Франции в штабе немецкого военного командования и через него он добывал очень ценные сведения.

В июне 1944 году немец был арестован и расстрелян. Тотчас же был арестован и Кривошеин. Кривошеин подвергся невероятным пыткам, но вёл себя героически, никого не выдал. Он был отправлен в лагерь смертников Бухенвальд, но остался жив...»

* * *

В Москве и вообще в России устроиться Н. Н. Кноррингу и семье Софиевых не удалось, и они поехали в Алма-Ату. Об Алма-Ате говорил им ещё во Франции советский посол Александр Евдокимович Богомолов, расхваливая южный город и предлагая Юрию Борисовичу работу в Институте зоологии Академии наук Казахстана – научным иллюстратором. Юрий Борисович был превосходным рисовальщиком. В архиве сохранились альбомы с его рисунками карандашом и пером. Это виды Франции, места, которые он видел во время велосипедных путешествий и зарисовывал. Есть и книги казахстанских учёных-зоологов, оформленные Ю. Софиевым. Его всегда влекла наука, любовь к природе. Это было, видимо, семейное, так как и брат его, Лев Бек-Софиев, выбрал профессию биолога, одно время возглавлял в Крыму Никитский ботанический сад и всю жизнь собирал коллекцию редких по красоте бабочек. Это увлечение свело его в эмиграции с писателем Владимиром Набоковым, который тоже был заядлым собирателем бабочек. На одном из фото архива Софиевых Лев Оскарович снят вместе с сестрой Набокова – Еленой Владимировной Сикорской. Он полулежит в траве, а она сидит, прислонившись к маленькому стожку сена, и в руках у них сачки для охоты на луговых летуний.

На многих фотографиях Лев Оскарович снят в окружении полевых цветов: то это луговое разнотравье, то поле нарциссов в Швейцарии, то огромные букеты альпийских цветов, или золотые колосья диких трав, или хрупкий стебель весеннего гиацинта. Цветы повсюду: цветущий кактус на окне, зелёные лохматые хризантемы на комодe, свежесрезанные огненные гвоздики на столе, а за диваном, в высокой узкой вазе – пучок сухого алого репейника и дудки камыша.

Юрий Борисович тоже любил цветы, и они постоянно украшали всякое его жилище.

Предложение А. Е. Богомолова и решило дело. Большое семейство отправилось в Алма-Ату.

В очерке «Возвращение на Родину» Ю. Софиев так пишет об этом: «Это мой совершенно свободный выбор. Я вам покажусь старым романтиком, но ещё с детства меня влёл этот край. Пустыни. Горные тропы. Тянь-Шань. Камыши Балхаша. С юных лет я неисправимый охотник. Кроме того, Алма-Ата – крупный научный центр...»

В своих воспоминаниях о детстве, он говорит, что давно уже грезил Туркестанским краем, о котором рассказывал ему дядя:

«Он когда-то служил ветеринарным врачом в городе Верном. И когда приезжал по своим делам в “Россию”, неизменно навещал деда (*Н. С. Родионова в Старой Руссе. – Н. Ч.*). Развесив уши, с разинутым ртом, с волнением и восторгом я слушал рассказы дяди о далёком и загадочном крае. Дядя был радикальным русским интеллигентом, естественно, враждебно относился к монархическому режиму, к деятельности Николаевского правительства. К местному же населению, к “туземцам”, проявлял уважение и симпатию. Рассказывал, что “киргизы” – народ хороший, приветливый, очень гостеприимный. Ведут кочевой образ жизни, кочуя со своими отарами овец, стадами верблюдов, косяками лошадей по обширным степям и полупустыням нашей Средней Азии. Среди русской интеллигенции имеются единицы ассимилированных азиатов, выходцев из кочевых племён...

Дядя – страстный охотник и рыболов – рассказывал о тиграх и кабанах, горных козлах и архарах, о красавцах фазанах, о дрофах, о каких-то бульдуруках, о вкусных рыбах с очень ядовитой икрой. (*Речь шла о рыбе маринке. – Н. Ч.*)

– Вот приедешь ко мне погостить, побродим с тобой по камышам Балхаша, Или, Чу! Постреляем, порыбачим. Кто знает, может быть, увидим следы тигра! – говорил дядя.

Я был в восторге! Охотничье Эльдорадо!

Дядя подарил мне романы Н. Н. Каразина об этом загадочном, желанном для меня крае. Но грянула война 14-го года. Дядя ушёл с полком на фронт, и вдруг – “пал смертью храбрых”, как писали в официальных извещениях, от случайного снаряда, залетевшего на его ветеринарный пункт...»

Так Туркестанский край стал для Юрия Софиева прекрасной мечтой, которая осуществилась в середине декабря 1955 года. Он приехал в бывшее казачье укрепление Семиречья, в город Верный, который теперь именовался Алма-Атой и оправдывал своё название отца яблок. Едва Юрий Софиев сошёл с поезда – в лицо пахло яблоками: их вёдрами продавали на вокзале тётки в пёстрых платках и плюшевых фуфайках. Яблоки выжили до зимы и выглядели крепкими, краснощёкими, будто бы только что сорванными в саду. Яблочный запах усиливался воздушными потоками свежего горного снега. Горы стояли в ослепительно-синем небе, совсем близко, даже ёлочки видны были на склонах и тёмные козьи тропы между скалами. Здесь дышалось легко и радостно. И голова кружилась от счастливых обещаний новой жизни, новых впечатлений, новых стихов. Дома!

В столице советского Казахстана семье бывших эмигрантов предоставили жильё и работу. Юрий Борисович стал трудиться в Институте зоологии, туда же устроился его сын Игорь – переводчиком: он знал французский и английский, кроме того, поступил учиться в Институт иностранных языков, так как во Франции не закончил историко-философского курса в Сорбонне. Н. Н. Кнорринг пытался устроиться в библиотеку Академии наук (у него был опыт работы в Тургеневской библиотеке в Париже), предлагал свои научные разработки по генералу Скобелеву, но тут дело не заладилось – его не взяли, а по поводу Скобелева сказали, что их эта тема не интересует. Ещё бы! Скобелев был покорителем Туркестана, и к нему в Азии относятся так же негативно, как и к Ермолову на Кавказе: там несколько раз даже покушались на его памятник. Тогда Николай Николаевич вернулся к своей журналистской деятельности, чем занимался и в эмиграции: стал писать заметки и очерки в местные газеты, в журнал «Простор». Жена Игоря, Ольга Львовна Вышневецкая, была принята

на службу в Центральную библиотеку имени Пушкина (ныне Национальная библиотека), в отдел иностранной литературы, и тоже продолжила учёбу, как и Игорь. Все более или менее устроились.

Вот как о новом своём обиталище писал Юрий Борисович в очерке «Грозные явления природы» – для парижской газеты:

«Я живу на южной окраине Алма-Аты, почти у самых предгорий. Они у нас называются “прилавками”. Весной они буйно зарастают крокусами, ирисами жёлтыми и красными тюльпанами. В каких-нибудь двухстах метрах от нашей улицы начинаются колхозные поля. Ранним утром, когда в моём саду тянутся длинные, резкие тени, а в густой листве играют чудесные солнечные зайчики, зажигая рубинами зреющие черешни и вишни, – меня будит не будильник, а гул вертолёта.

Каждое утро в определённый час воздушный патруль уходит к снежным вершинам гор...»

Патруль выслеживал пожары, сель и горные лавины...

Около своего барака Юрий Борисович посадил сад и много цветов. Он был счастлив – и от того, что у него наконец-то появился свой дом, он живёт в среде русского языка, и от того, что есть достойная, творческая работа, и что возлюбленная его природа окружает его со всех сторон. Он записывает в дневнике: «Всю жизнь как-то взволнованно-радостно я любил деревья, как родственные живые существа, так же как зверей и птиц...» И как единомышленника в этой любви вспоминает Чехова: «Чехов был страстным садоводом. Он чувствовал в росте куста, дерева то, что сильнее всего его волновало, – утверждение жизни...»

Куприн тоже приводит слова Чехова: «...Послушайте, при мне же здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это верно. Ведь здесь до меня был пустырь и тёмные овраги, всё в камнях и чертополохе... Знаете ли, через триста, четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад...»

«Это то, – пишет Ю. Софиев, – из-за чего я не хочу менять мою берлогу на квартиру со всеми удобствами – этого я не могу объяснить ни Рае (*Р. Н. Миллер, подруга Ю. Софиева. – Н. Ч.*), ни всем тем, кто пристают ко мне с вопросами: почему я до сих пор не поменялся квартирой.

“Послушайте, мною же посажено здесь каждое дерево”. Но разве это убедительный аргумент для “реалистов”? А куда бы я ни шёл – в уборную, в сарай за углем, я обязательно остановлюсь и полюбуюсь каждым – “вот это два года тому назад было совсем тоненьким”. И мне бывает совестно перед каждым из них, если в засушливую погоду у меня нет сил, из-за болезни, полить их...»

Одноэтажная Алма-Ата тех лет ещё утопала в садах. Стояло долгое лето. Пахло уроком, яблоками, виноградом. Было много зелени. Звенели арыки. Дикая природа Алатау – Пёстрых гор – подходила близко к городу, и на окраины прибегали даже лисицы. Кеклики гнездились прямо за огородами, в высокой траве, и громко кричали, скликая птенцов. Перелетали с кочки на кочку радужные фазаны. На вечерней зорьке вавакали перепёлки. Всю ночь перепевали друг друга соловьи и розовые дрозды, а по утрам – ворковали горлинки, заглядывая в окна. Прыгали по веткам сада белки. И детский голос кукушки обещал бесконечную жизнь.

Очерк «Возвращение на Родину» Ю. Софиев заканчивает стихами своего любимого французского поэта XVI века Ди Белле:

Счастлив, кто уподобясь Одиссею,
Исколесит полсвета, а потом,
В чужих порядках сведущ, зрел умом,
На землю ступит, что зовёт своею.

«КОГДА ЗАХЛОПНУЛАСЬ КАЛИТКА...» ПИСЬМА

...И полетели письма в Медон из Алма-Аты – Елене Люц и из Медона в Алма-Ату – Юрию Софиеву. Они полны ещё живого трепета нежности, недавнего прощания. Они вовлекают нас в воронку ушедшего времени, где сохранилось дыхание жизни, к которой можно прикоснуться. Ведь любое наше представление о прошлом – это фантастика. Мы всё равно смотрим на него с позиций сегодняшнего дня. А документ – он сохраняет ответ правды.

«08.03.56 г. из Медона в Алма-Ату.

Дорогой мой Юрий, написала тебе первое письмо, но не послала, и хорошо сделала, т. к. на все мои вопросы ты ответил вторым твоим письмом. Я, вчера, тебе писала – как мне хорошо, что твоё письмо только для меня – и тут же ругала и убеждала писать и другим. Не знаю, какими словами передать тебе мою радость – очень было печально, до получения второго письма, не почувствовать той, настоящей жизни, к которой вся моя устремлённость. И вдруг в письме к друзьям – она у тебя вся наружу. Вот из-за этого моё желание уехать стало ещё твёрже. Здесь, в Париже – тебе было трудно понять меня.

Я часто замечала, как, перед самым твоим отъездом, я глубоко тебя обижала, думая о своём диспансере, но, Юрий, с 1939 года я работала, создавая вокруг себя вот эту большую, коллективную семью. Я добились многого... И сейчас я уверена, что у нас (*На родине. – Н. Ч.*) для меня найдётся работа. После твоего отъезда я занялась *assistante sociale* в Groslay и St.-Gratien – это на севере, за Montmorency. Дорога одна около четырех и более часов. Потом из одного дома в другой, в среднем 15-20 километров в день. А вечером – отчётность, конечно, со словарём и грамматикой. Справилась и с этим. Потом началась работа в St.-Remy – дорога занимает три с половиной часа в день. Пришлось работать в недостроенном помещении без отопления – кругом каменщики, маляры, электрики... Как видишь, зима прошла в больших трудностях, а главное – ты измучил меня своим молчанием...

...Ты пишешь, что постарел и похудел. По карточке этого не скажешь, а вот Игорёнок совсем худющий. Ольга (*Ольга Вышневецкая – жена Игоря. – Н. Ч.*) могла бы подрабатывать на дому шитьём. Трудно ему, бедному...

...Я приеду. Как в романе, меня «иссушила кручина». Похудела на 7 кило – это я-то, которую и голодовки не берут.

...Виктор, видимо, очень беспокоится, много раз начинали разговор, трудно ему очень. Во-первых, здоровье, потом – слабость характера, и, в-третьих, самый серьёзный тормоз – семья. Еринька и её дети...

...Я не пишу о своих чувствах, ты хорошо это почувствовал, уезжая. Сейчас мне нужно опять шутить и улыбаться. Я очень за тебя рада, но заранее огорчаюсь и волнуясь, думая вступить с тобой в соревнование: ты – по части зоологической, а я – медико-социальной.

Вот, родной, на этом закончу письмо. Пишу-то на работе. Пока крепко, крепко целую. Твоя Лена...»

«05.04.56 г.

Юрий, родной, что же нам делать?! Анкету я подам, как только вырвусь, но как достать деньги? Ты же меня знаешь, я скорее готова умереть, чем всю жизнь мучиться угрызениями совести. А что я не выдержу, теперь это уже для всех понятно...»

«05.05.56 г.

Дорогой Юрий, ну вот. Самый тяжёлый или один из тяжёлых моментов прошёл. Теперь нужно, чтобы ты прислал мне приглашение приехать в Алма-Ату – на моё имя и лично мне. Конечно, его надо послать в St.-Remy. У меня дома обстановка еле выносимая. Как видишь, я не откладываю своего решения, но нужно всё же немного и сердца – уф! – как всё тяжело, и я теряюсь в решении правильности или действительно эгоистичности моего поведения. Во всяком случае, я буду убеждать В. ехать со мной, и, Юрий, для будущего, сделай и ты всё, как для самого близкого и дорогого человека.

Я знаю, что ты меня сейчас хорошо понимаешь. Если мы сделаем всё, что можем, и человек предпочтёт не быть с нами, ну, тогда его дело...

Вот, Юрий, несмотря на тяжесть и желание уснуть и не просыпаться – моментами радость побеждает и угрызения совести, и даже тревогу за чужую жизнь...»

«31.05.56 г.

...Наша Шеврез теперь вся в зелени. По субботам и воскресеньям масса гуляющих. А я – сижу, точно в тюрьме, в моём диспансере. В дни отдыха (я отдыхаю в будний день) сплю, т. к. работа меня сильно утомляет. На ногах с семи утра и до... иногда часу ночи, но никогда не раньше девяти...

...У меня виски стали совсем белыми...

Если тебе, Юрий, тяжело, то как назвать моё состояние? У тебя интересная работа, свободные воскресенья, возможен отпуск. У меня – пелёнки больных детишек, ученицы, недобросовестные доктора, небрежность служащих, а дома – сам знаешь – кроме Писсарро и Мореходовой никого. Правда, у меня есть маленькое удовлетворение. Сейчас я провожу состязание в экономическом плане. Кормлю разнообразно и хорошо. Готовим всё на сливочном масле...

(В то время в Алма-Ате сливочное масло – дефицит, как и многое другое. Зато в общественных столовых стаканами дают сметану – невиданное дело для реэмигрантов, едят ливерную колбасу, рубец и студень, к которым возвращенцы так и не привыкли, и появились плавленые сырки. На них бывшие французы, избалованные изысканными европейскими сырами, глядят с изумлением и опаской, но всё же едят: продукт весьма популярен в советском обществе и удобен для быстрого перекуса. Особенно славился сырок «Дружба». Его изобрели для полёта на Марс. Каждое утро космонавты должны были завтракать этим сырком, пока не долетят до Марса. Полёт не был осуществлён, а сырок пустили в народ, и он благополучно дожил до наших дней. И, конечно, в южном городе полно фруктов, и они дешёвы. – Н. Ч.)

Деньги тают с невероятной быстротой, и, как ни бьюсь, не могу отложить денег. Картина понятная и беспросветная. Постараюсь отправить всю компанию на юг, отпуск я буду оттягивать, и если удастся, совсем не возьму. Ну, вот, Юраш, и все мои приключения и горести. Смотри береги себя, а то что же у меня останется в жизни, если и здесь произойдёт катастрофа?..

На прошлой неделе у меня украли на работе 10 000... Пиши скорее, а то мы, пожалуй, успеем и умереть...»

«28.06.56 г.

...Ты пишешь, что состояние моего здоровья тебя волнует. Мой диагноз прост – я плачу за пережитое и переживаемое. Очень сильно устаю. Иногда совершенно не могу спать, иногда сплю до двенадцати. Один раз – 24 часа подряд.

...Я уже в чине офицера... Мой центр хотят сделать образцом всей Франции... А вот сейчас заполняю опросный лист по моей специальности. Обо мне говорят много лестного. Но, Юр, всё это меня не волнует... Надеюсь, и в Алма-Ате не ударю лицом в грязь. Но, Юрий, как я справлюсь с деньгами? В этом году я не смогла отложить и 1000 франков. Мне нужны деньги на дорогу и нужно оставить хотя бы на три месяца Виктору. Ты мне не отвечаешь, смогу ли я ему посылать деньги, заработать я их заработаю, и на себя, и на его долю, но не будет ли затруднений с переправкой?

На нас с тобой уйдёт денег меньше, чем на тебя одного, т. к. будем готовить дома...

Мама всё такая же неуравновешенная и резкая. Всё так же всех ненавидит. Виктора называет хамом, не соображая, что сама-то уже что-то очень пренебрегает хорошими, достойными любого гражданина манерами. От этих дрызг, бешенства, истерик я совершенно заболела. Да тебе нечего писать, ты сам был свидетелем...

...Часто письма я писала в поезде. Сейчас пишу в метро в половине одиннадцатого вечера. Ездила к Писсарро в больницу. Ей сделали операцию. Тёплый вечер. Париж всё так же прекрасен ночью, и мне странно, что тебя нет рядом. В St.-Remy я невольно вспоминаю нашу последнюю прогулку. В июле я буду жить в комнате против Château de la Madeleine. Может, ты сможешь побыть со мной вместе в определённый час? Если хочешь, высчитай точно время, и мы попробуем с тобою, как во время наших поездок, изучать небо, но, если не ошибаюсь, когда у меня десять часов вечера, у тебя три часа утра. Следовательно, решай задачу, как же звёзды или наша звезда будет видна каждому из нас...

...Ты спрашиваешь подробности домашней ситуации... Когда я сказала, что подам анкету, произошла сцена... Во всех разговорах всё то же... Это было и в 47-м году, будет и в 57-м, и в 67-м – до тех пор, пока Еринька не решит положительно...

...Жду выслуги стипендии... В апреле будет 49 процентов. Это приблизительно 15 000 в месяц. Конечно, очень мало. Но всё же какая-то сумма будет ему обеспечена...

...Если бы я не надеялась вырваться из этого ада, я бы не стала жить. В довершение всего вот фраза Виктора: “Ты чудовищно виновата в моей жизни!”

...Мне всё здесь опротивело, всё мерзко.

(Далее она пишет, что узнала о смерти матери Юрия Борисовича, Лидии Николаевны. Она умерла во Франции, где жила со вторым своим сыном, Львом.

С вечера была вполне здорова, а утром её нашли мёртвой. Сердце. Незадолго до смерти она узнала о судьбе своего младшего сына, Максимилиана, который был арестован ЧК в 1937 году в Ленинградской квартире Софиевых. Его 10 лет уже не было в живых, а семья верила, что он выжил. – Н. Ч.)

...Я знаю, какое пришло тебе горе, и как бы хотела быть рядом с тобой. Это вообще какой-то год неисправимых несчастий. Сейчас говорят о войне. Нам (медицинскому персоналу) прислали анкетные листы на случай мобилизации. У меня отчаянное состояние, какая-то чёрная мгла и никакого просвета...

...С интересом прочла в “Последних новостях” письмо Кнорринга. Смотри, Юрий, не бросай старика и Игорю от меня скажи. Не забывайте оба, что это отец Ирины. После смерти жены он очень одинок, но по гордости скрывает.

...В сентябре уезжаю на юг – одна...»

«Дорогой Юрий, вот я и на юге, второй день – грустно одной...

...Была в субботу в консульстве – оказывается, виза уже готова. Прошло около полутора месяцев, и всё было устроено, но теперь начинается самое трудное: подготовка к отъезду. Нужно устраивать финансовые дела. Я тебе писала о моей пенсии, а кроме этой суммы нужно ещё очень много денег. Мама цепляется за свой участок, если уговорю продать, то всё устроится. Если же она на это не согласится, то будет очень трудно. Уехать я смогу не раньше марта (*следующего года*. – Н. Ч.), т. к. только в конце года выслужу 43 процента моей пенсии, нужно дотянуть до 46 процентов... Придётся что-то придумать, чтобы собрать ещё 170 000.

Виктору сказала, что могу уезжать, когда захочу – он это принял спокойно, т. к. решил, что виза прислана в связи со званием офицера здравоохранения...

...В решимость Виктора я мало верю, но если другого выхода не будет, он может тоже поехать...

Терпи, казак, теперь осталось совсем мало времени до нашей встречи».

«23.09.56 г.

Дорогой Юрий, вот и конец моему отдыху.

Читала, купалась – всё это в одиночку, а по вечерам слушала бесконечные воспоминания о прошлом. Чтобы не зевать, крутила гильзы и набивала табаком. (*Елена была заядлой курильщицей, покуривала и Ирина Кнорринг, но не запойно*. – Н. Ч.) Скучно мне без тебя и до жути тоскливо. Нет, не такой я человек, чтобы время могло вытравить остроту разлуки. Будто что-то вырвали из всего моего существа. Прав Виктор, говоря: “Тебя сейчас в рай посади, а тебе всё не любо будет”. И тебе я пишу редко по той же причине – как-то трудно и за письмо взяться, боюсь писать, всё не верится, что ты не исчез навсегда, всё кажется, что не настанет того дня, когда мы сможем быть вместе. Опротивело мне всё, а больше всего эмигрантское нытьё – и всё-то им тяжело, только бы есть булочки и чай попивать, да в церковь бегать, чтобы посплетничать...

...Приеду в Париж и начну готовиться к отъезду. Мама уже знает, что я уезжаю. Она хочет потом (когда я уже устроюсь) тоже приехать. Если она согласится продать землю, то с денежным вопросом всё уладится, а так даже и не знаю, как быть.

Пиши, Юрий, не откладывая. Теперь надо уже действовать!»

«10.10.56 г.

Дорогой Юрий, твоё предложение (*Виктору. – Н. Ч.*) написать о действительном положении вещей только затруднит мой отъезд. Нужно считаться с характером человека. Дело в том, что у В. всё сильнее проявляются приступы полной отчуждённости от реального положения вещей. Ты можешь ответить, что это было и раньше – было, да, но не так, как сейчас. Сейчас он и сам замечает и жалуется на боли в затылке, на полную инертность ко всему. Мама за свой кусок земли держится крепко, на продажу мне рассчитывать не приходится. Весь вопрос, как я справлюсь с деньгами. Ты должен понять, что я жду твоего ответа с нетерпением: можно или нет посылать деньги?

...Как только вырвусь на свободу, начну действовать. И ты, Юр, будь паймальчик и слушайся меня, действуй так, как я тебя прошу, и не вздумай болеть, я и так устала от всяких сильных встрясок, а ты, как мальчик, себя не бережёшь. В этом году никаких охот и никаких пустынь. И заранее предупреждаю: в 12 часов электричество будет выключаться. И ещё, Юрий: личное счастье не может быть построено на несчастье других. Ты знаешь меня достаточно. Уезжая, ты видел, как мне было тяжело. Ты сам пережил нелёгкие минуты. Моё положение более трудное, так что нужно не торопить, а сделать всё, чтобы потом жить спокойно, а не упрекать себя в эгоизме и, быть может, непоправимом преступлении.

...Готовься быть красивым и молодым, но, конечно, всё это только для меня и только для меня одной.

Целую крепко, крепко. Твоя Лена.

Звёзд я не забыла...»

«14.12.56 г.

Дорогой мой Юра, хотела бы тебя порадовать, но пока нечем. Мама категорически отказалась ехать – в каждом письме она засыпает меня упрёками. (*Елена устроила её в стариковский дом. – Н. Ч.*). Видно, наши старики больше привязаны к своему капиталу, чем к своим детям. Да не только старики, а и нашего возраста. От Лёвы ни звука. (*Лев Бек-Софиев, брат Ю. Б. Елена написала ему о просьбе Юрия купить для него хорошее ружьё, с тем, чтобы Елена привезла его. Юрий был заядлым охотником, и когда-то у него была коллекция оружия. – Н. Ч.*) Я же абсолютно ничего не понимаю в ружьях и куплю тебе что-нибудь не то, да и с деньгами будет очень туго. Отдала для оценки всё, что у меня было: кольцо, браслет, две, подаренные тобою, брошки. Теперь надежда, что мне кто-то поможет, провалилась – нужно самой копить. Мне надо собрать около двухсот тысяч. Нужно уплатить налог мой и три триместра за маму. В лучшем случае, 50 000. Нужно оставить Виктору минимально 120 000 и 30 000 на дорогу – налегке – без багажа. Пока что у меня отложено 30 000... Может, ты мог бы написать в консульство, Егорову, может, он сможет дать мне деньги, с тем, что мы ему выплатим на родине?

Видела Кобяку. (*Дмитрий Кобяков – писатель. Он потом тоже вернётся на родину, поселится с семьёй в Барнауле, где начнёт потихоньку сходить с ума, как и его сын, который несколько раз в припадке безумия пытался убить отца. – Н. Ч.*) Кошки твои остались у него. Арабы продолжают жить в твоей квартире... Я говорила с консулом, и он мне подтвердил твои слова – о том, что у нас нуждаются в квалифицированных работниках. Обидно тратить время – ведь жизнь уходит, а сколько осталось ещё прожить, неизвестно...

Виктор живёт по-прежнему, не заботясь о будущем. Сейчас ему рвут и лечат зубы, чтобы поставить верхнюю челюсть. Это обойдётся в 35 000.

Чувствую себя намного лучше, но настроение препротивное, т. к. верчусь, как белка в колесе, ломаю себе голову, а как выкрутиться – не знаю... Начну искать домашнюю работу для Ериньки и Виктора. Думаю, что Schreiber (моя патронша) сможет дать им писать конверты...

...Я всё же никак не предполагала, что моя мать окажется такой чёрствой и откажется мне помочь. Ведь фактически половина её участка принадлежит мне. Ну, да аллах с нею, пусть доживает свой век. Не начинать же с нею судиться? Да, по правде, с её характером ужиться трудно, и без “сливочного масла” мы бы не раз сожалели, что притащили её к себе.

Пиши, Юраш, скорее, и пиши толково, сколько нужно денег: в обрез, на билет? Ты знаешь, что я умею голодать, так что об этом не заботься...»

«...Дорогой Юрий, ни о ком ничего не знаю. Кобякова не видела с твоего отъезда, о кошках тоже ничего не знаю, как и об арабах. Дело в том, что я не бываю в Париже. С субботы до понедельника живу отшельницей (*в диспансере. – Н. Ч.*). У нас нет кухарки, и вообще почти нет персонала, а детей нужно кормить, выносить на двор, пеленать. Работы много, убивает лестница – винтообразная, по которой всё время приходится бегать...

...Настроение гадкое. Ты пишешь, притупится острота разлуки. А выходит наоборот. В автобусе из Версаля в St.-Remy я всё так же остро ощущаю твоё отсутствие. В прошлый понедельник по службе ездила в Varennes-Jarcy, и в St. Diordes увидела тропку, где упала Ирина (*Кнорринг. – Н. Ч.*). Видела скамью, где мы ждали поезда, а потом кафе в Brunoу, где мы завтракали. Всё это я видела, а день был большой, т. к. я получила диплом и звание офицера здравоохранения. Бумаги мне ещё не выдали, но было поздравление, аплодисменты и вся церемония, которая мне особенно неприятна...

...Ты не пишешь, Юрий, и другим всем странно, что ты не пишешь. Ты ведь знаешь, что письма из России читаются всеми, а ты пишешь только для меня, и мне приходится лгать. Уж будь таким добрым, напиши письмо Виктору, и напиши хорошее, не упоминая обо всех моих горестях и настроениях...

До скорого. Как подумаю – так сердце останавливается. Твоя Лена».

«28.01.57 г.

Дорогой Юрий, вот уже третье письмо, на которое нет ответа. Может, тебе надоела переписка, кажущаяся для тебя бессмысленной, а вернее, в твоей жизни произошли перемены, и ты не так уже сильно стремишься к нашему свиданию? Прошрое я помню хорошо, помню твои слова. Я хорошо понимаю, что жизнь не может стоять на мёртвой точке. Есть разные натуры, разные подходы и поступки. В этом отношении мы не похожи.

Что ж, Юрий, ты прав: мне всё опротивело, я совсем одна – против многих затруднений, одна со своим горем, со своей болезненной усталостью...

...Мне всё равно: ждёшь ты меня или перестал ждать, а из этого “рая” я выберусь, как можно скорее. Мои письма должны тебе казаться очень скучными, да и есть на что жаловаться. Я сейчас работаю с удивительно мелкими душонками – с теми, для которых кровавый бифштекс заменяет все радости жизни. Раз в месяц

вижу Мореходову. Дома слушаю радио и читаю газету, полную преступлений. Оживаю на лекциях Рибара, но и о них не с кем говорить, т. к. Виктор сразу начинает спорить. *(Рибар – марксист, пропагандировал идеи социализма. – Н. Ч.)...*»

Она спрашивает, что послать ему. Перечисляет уже собранное для посылки: иголки для кожи, шерсть для штопки носков, лекарства, суп в пакетах и молоко в пудре. Понимает, что он усмехнётся на её хлопоты – на фоне тех потрясений, что они пережили и переживают.

«На всё это ты, конечно же, готов ответить одним словом – достоевщина. Нет, Юрий. Не достоевщина, а чувство ответственности, которое сильнее самой жизни...

Я очень часто вижу тебя совсем близко, и это с такой очевидностью, что и невольно осматриваю и комнату Виктора, и кухню. В последний раз я тебя видела сидящим в кресле, и глаза у тебя были холодные и отчуждённые. Скажешь, чепуха – нет, не чепуха, а обострённая напряжённость и еле уловимые интонации последнего письма. Я хорошо понимаю, что после 15 месяцев разлуки многое кажется уже не тем. Ты уже забыл, с каким трудом мы вырывали нам месяц отпуска, но тогда, Юрий, мы были вместе, а сейчас у меня нет ни одного человека, который бы мне помог хотя бы мелочью. Ну, вот, родной, ты просил писать тебе часто – такие минорные письма лучше не посылать. Но если скучно, не читай.

Целую крепко, крепко. Лена».

«29.11.57 г.

Дорогой Юрий, получила твоё письмо, но в странном состоянии: очень грязный конверт и заклеен так грубо, что письмо пришлось отдиравать. Ты его проставил письмом IX – т. е. сентябрь, а пишешь о снеге. Может, так: начал в сентябре, кончил в ноябре, а пока что письмо валялось в общей куче – в углу недостроенного жилища? Может, и не твоя вина. На праздники rue Donigique встретила Ив. Ив., вернее, он меня узнал и остановил. В прошлое воскресенье он был в Медоне, взял вещи для тебя. Не думаю, чтобы вы с ним скоро встретились. Он очень нервен, остёр на язык. Очень многое знает – но как-то совсем по-своему, не глупо – но почему-то он как бы оглядывается, будто опасается, что кто-то или что-то ему угрожает... *(Ив. Ив. – это Иван Иванович Баранов, который работал на КГБ и часто ездил в Советский Союз, но о его сотрудничестве с органами эмигранты узнали позже, а пока они пользовались его возможностями и через него переправляли родственникам и друзьям в Россию посылки. То же делали и Елена Люц с Виктором Мамченко, и Раиса Миллер впоследствии. Баранов не всегда посылки довозил до адресатов, т. к. страдал алкоголизмом, вещи либо пропивал, либо просто забывал под столом в кафе или под вокзальной лавкой. – Н. Ч.)*

...Ты пишешь об инерции, пишешь, что Николай Николаевич молодедей, добрей, здоровей старых. Да, Юрий, он молодец устраивать свою жизнь. Ни ты, ни я так не умеем.

Мать моя в стариковском доме, но характер у неё не Ник. Ник. – очень горда и, несмотря на большие недостатки, правдива. В тебе я любила и люблю редко встречаемую выдержку, не раз тебе было тяжело, холодно, голодно, одиноко. Всё это ты выдерживал стойко – без жалоб. Ты не выворачиваешь всё и вся наизнанку, не критикуешь, не жалуешься. Ты уходил из дому на лекции, на собрания, дома

оставалась жена с сыном. Тебя многие за это критиковали, ты это знал, но всё же не уступил, шёл своей дорогой.

У меня жизнь сложилась по-другому. Вся моя работа, вернее, “la raison d’etre” – это тащить, помогать, лечить. Я знаю, что не вытащу, не вылечу до конца, и всё же я не могу не протянуть руки, я не умею пройти мимо, даже тогда, когда мне самой ещё хуже, чем просящему.

Ты мне пишешь: “К концу жизни вы простите друг друга”. (*Речь идёт о Викторе Мамченко и Елене Люц, об их семейной жизни. Дальнейшие события покажут, что Софиев оказался пророком, но сейчас, в 1958 году, Елена в это не верит. – Н. Ч.*) Видишь, Юрий, тебя я могу простить или не простить, к тебе я могу предъявить требования – ты никогда не был для меня моим “пациентом”, и как ни странно, но только один ты не вызываешь во мне жалости.

Недавно у нас был спор с В. – излюбленная тема о счастье человека, о добре и зле, о Шестовской теории: знание – это зло. (*Шестов – русский эмигрант, религиозный философ, жил в Париже, под его влиянием долгое время находился В. Мамченко. На одной из фотографий, где заснята комната Мамченко, на стене висит большой портрет Шестова. – Н. Ч.*) О прошедших веках, о революции. Ты знаешь заключение: “Человек несчастен”. Вот в этом и вся тайна. Я не считала и не считала себя никогда, несчастной, никогда не искала личного благополучия, не плакала над собой. Фёдорова (*дочь эмигрантского философа Федорова, ей Ю. Софиев посвятил стихи: “Прекрасные руки твои / На клавишах. Ты / играешь Шопена...” – Н. Ч.*) тебе сказала, что я либо идиотка, либо святая, а мне кажется, что ни в идиотстве, ни в святости дело, а просто в русской культуре... И что бы я ни дала, чтобы не было прошлого, чтобы на совести не было вот этого сосуществования со всей эмигрантской гнилью. Нет и нет, Юрий, я не собираюсь успокаиваться, не собираюсь тихо и спокойно доживать свою жизнь. Я не знаю как, не знаю когда, но знаю, что выход из тупика наступит. Конечно, инерция похожа на толстый канат, связывающий людей, но и такой канат перетирается со временем. Ты очень ошибаешься, предполагая, что в моей личной жизни что-то изменилось – я бываю дома только в свободные дни. В. целую неделю живёт один, интересы нашей общей жизни всё больше сводятся ко дню получения жалованья, и в то же время связь с Еринькой становится всё ближе. Старший её сын скоро женится, второй будет призван на военную службу.

Наш, медонский, домик медленно разрушается. Как видишь, это всё материальные условия. На работе я очень сильно устаю – вряд ли проработаю ещё много лет в таких условиях. Лёгкой работы я здесь не найду. Пенсии на двоих не хватит, а тем более на троих (как ты предполагаешь). Следовательно, хотя бы один будет лишним. Этот один буду я. Если я оставлю Францию, моей пенсией они смогут пользоваться (конечно, кроме Securite Sociale)...

...В. получил письмо от Ник.Ник. Сегодня он поехал на кладбище, насчёт могилы Ирины. Ты мог бы не деликатничать – всё-таки у Л. (*Льва Бек-Софиева. – Н. Ч.*) осталось много добра, и, конечно, есть деньги, чтобы заплатить за постоянную могилу.

Вот, Юрий, и всё. Целую крепко, крепко. Пиши. Твоя Лена».

Даты нет. Идут стихи Юрия Софиева, посвящённые Елене Люц, она их переписала, а по краям письма – приписки.

«Мы идём с тобой лесной тропинкой,
Птицы начинают гнёзда вить.
Каждую ничтожную былинку
Хочется лелеять и любить.
Человеку, и зверям, и птицам
Шлю благожелательный привет.
Слышишь, суетливая синица
Что-то пропищала мне в ответ.
По моей, согретой солнцем, коже
Медленно и важно жук ползёт –
Вероятно, всё-таки мы сможем
Отодвинуть расставанья срок...

Вот, Юраш, и сегодня – птица начинает гнёзда вить, а ночью летели гуси. В Медонском садике начинают распускаться почки и зацвели три лиловых тюльпана. Ты меня упрекаешь, что пишу коротенькие записочки, но о чём же писать?! Писать о маленьких недоразумениях, ссорах, о человеческих подлостях не хочется... (*«Мелкие подлости» – это желание одной сослуживицы в диспансере занять место Елены Евгеньевны и получать более высокую зарплату. Она путала её бумаги, муж её развинтил в машине коробку скоростей, и Люц чуть не разбилась, когда поехала. – Н. Ч.*)

...Работаю ещё в St. Gratein... Хожу из дома в дом, проделываю 10 километров, иногда приходится идти полями, иногда дохожу до озера St. Gratien. Это самые лучшие моменты – хорошо и тихо. В St. Gratien дорога из Медона дальняя, устаю физически очень сильно, но всё же предпочитаю эту работу – грязной, стоячей воде в St.-Remy. Странно, что мы с тобой ни разу не были на озере. Оно настолько велико, что я с трудом различаю противоположный берег. Всё это не так важно, важно то, что с собою справиться я не могу. И всё так же, как и в день твоего отъезда, горький ком сдавливает дыхание...»

Снова переписаны от руки стихи Юрия Софиева. Вероятно, из тех, что нашла она брошенными в спешке отъезда, в его бывшей квартире, где теперь жили арабы, либо они были подарены ей Юрием и в его бумагах отсутствовали. Он многое восстанавливал и в памяти, и в своём архиве с помощью друзей, так как из Франции смог вывезти только ограниченное количество багажа, да и не всё можно было провозить. Например, Вл. Сосинский вспоминает, что у него было несколько толстых тетрадей с переписанными от руки стихами Марины Цветаевой. Тетради эти у него отобрали на московской таможне. Н. Н. Кноррингу чудом удалось провезти книги дочери, вышедшие в Париже, её дневники и часть своего архива, но вся библиотека с подаренными книгами эмигрантских поэтов была оставлена. И какие имена! Теперь эти книги – библиографическая ценность.

СОН

Взъерошенный, взирает с удивленьем
Дрозд, лапку поджимая под брюшко.
Кустарники, деревья и селенья
Несмелым покрываются снежком.

И мы идём тропинкою знакомой,
 Не узнавая столь привычный лес,
 И мир, объятый снежною истомой,
 Затих под снежной тяжестью небес.

Смотри, как изменяется природа:
 Покрыты шапкой снеговою пни.
 И память вдруг зачёркивает годы,
 Ребяческие возвращает дни.

След беличий бежит цепочкой узкой,
 А я вдыхаю радостно озон.
 Подумай-ка, такой ручной, французский,
 Лес – снегом – в край родной преображён.

КОРСИКА

Петрето, Бонифачио, Сертень,
 Как радостно звучат для уха!
 Из Портоверрио старуха
 Сказала мне в тот августовский день:
 «Кто раз увидел остров голубой,
 Теряет сердце здесь навеки...»
 Сияет Корсика передо мной
 С тех пор, лишь я смыкаю веки.
 Я со скалы, неловкий рыболов,
 Ненужную закинул леску.
 Зато легенды и дела веков
 Летели с башни генуэзской.
 Три имени – три горные орла –
 Поборники народной воли,
 Их память корсиканца сберегла,
 (...) Рока, Корео и Паоли!

Взлетало море синее у скал,
 Легчайшей, бешеною пеной.
 И в дикой радости тебя я звал:
 «Карабкайся сюда, Елена!»

ГОСТЕПРИИМСТВО

Мы поднимались к перевалу
 По нестерпимейшей жаре,
 Наметив твёрдо для привала
 Ту деревеньку на горе.

Дорога пыльной, серой лентой
Вилась среди сухих камней.
И вдруг за ледяным абсентом
Мы в кабачке нашли друзей.
И как уютно стало сразу
От простодушной теплоты.
И, помнишь, – не моргнувши глазом,
Яд мутный выпила и ты.
А по зелёной нашей карте
Чертил дорогу карандаш.
Через всю Корсику в азарте
Летел маршрут беспечный наш.
С друзьями новыми, как братья,
Расстались мы, сойдясь на час.
Так Корсика встречала нас
Благожелательным рукопожатьем.

Стихи эти Ю. Софиев никогда не публиковал, видимо, считая случайными. Их нет даже в его записных книжках. Написаны они, скорее всего, на ходу, экспромтом или только для Елены Люц, и относился к ним поэт, наверно, как к неким «альбомным стихам».

«Пишу тебе на всех уголках. Так ты дольше будешь со мною. Отправлю это письмо, не откладывая, т. к. иначе ты пропадёшь ещё на несколько месяцев. Я опять безвыездно в St.-Remy, с 27 февраля. Нароботали, напакостили, заморили детей, а теперь отдувайся. Приходится давать уроки, не спать по ночам из-за больных детей. Но это всё же лучше, чем раньше, т. к. нет ни одной свободной минуты. Юренька, а сердце твоё болит – не из-за старости, а из-за того, что ты чересчур много “переживал”. Во Франции это хорошо изучили. Виктор тоже не мог сделать 10 шагов, а вот сейчас намного лучше. Это переходный возраст. Очень неприятный момент. Но, конечно, курить, пить и “любить” нужно в меру.

Пиши. Пока целую крепко. Лена».

«...Дорогой Юрий, мои письма скучны – я это знаю. Очень сильно устаю, одно желание – спать. Уже три недели как мучительно болит левое лёгкое, утром не могу откашляться, а вчера выплюнула сгусток крови. И не испугалась, а наоборот – обрадовалась. Если бы серьёзно заболеть, то всё само собою устроилось бы...

...На вопрос, что у меня творится дома, могу ответить одним словом – ничего. В. делает вид, что забыл о моей визе. Знаю, что стал усиленно искать работу, и уже не шарфики, а в книжном магазине...

(Вероятно, до этого он вязал шарфики на дому, как это делала и Елена Люц, а прежде – мать Ирины Кнорринг и сама Ирина. Они шили кукол, вязали и т. д. Жена Игоря Софиева, Ольга Львовна, занималась пушугаром – раскрашиванием платков. – Н. Ч.).

Я, конечно, поняла, что денег посылать нельзя, и, кажется, не ошибаюсь, предполагая, что если бы и было можно, то их бы не хватило. Но не может не быть выхода...

(И она ищет выход. Мадам Писсарро предложила ей заняться коммерцией – товарообменом с Россией. И хоть Елена понимает, что ни она, ни Юрий к коммерции не приспособлены, всё же предлагает рискнуть и заработать денег. Ничего из этого, конечно, не вышло, а вот у Н. Н. Кнорринга вышло: уже живя на родине, он получал из Англии хорошее сукно от своего знакомого, русского эмигранта, выходца с Украины, и выгодно продавал в Алма-Ате – это было значительной добавкой к его пенсии, т. к. работы он не нашёл. – Н. Ч.)

...Теперь о тебе – о том, что и ты замешан в создавшийся тупик. Я знаю, что тебе ото всего этого давно претит. Но забудь, что это ты, представь себе, что все мы как бы персонажи в каком-нибудь литературном произведении. По разряду сильных – из всей нашей группы, ты стоишь на первом месте, потом иду я, потом Еринька, и на четвёртом месте – В. Тут дело не в привычке, не в долготелетней дружбе, а во внимательном изучении человека. Ещё не так давно он упрекал меня, обвинял даже в его отношениях с Еринькой. Ты знаешь, что какая-то частица правды существует. Было время, когда я его переносила с отвращением. Дальше много сложных моментов. Ты мне пишешь, что я не очень стремлюсь уехать. Если бы ты случайно мог подсмотреть в те минуты, когда я бываю одна, ты бы понял, с какой невероятной силой я борюсь, чтобы не высказать всё, что накопилось на сердце. Нет, Юрий, упрекать меня не надо, мне и без упреков тошно. Ты должен понять, что здесь, за границей, меня ничто не удерживает. Я знаю, что если не уеду, то будет всё хуже и хуже. Ну, вот, довольно плакать. Ты не знаешь, что я учусь управлять автомобилем. Это мне ничего не стоит, т. к. за уроки платит моё общество.

Так что, Юр, не покупай пока мотоцикла, может случиться, что я приеду и с собственным автомобилем. Тогда ты меня встретишь в Москве, и мы проедем всю Россию и устроим себе настоящий праздник. Ты только представь себе, ты сможешь спать до десяти или одиннадцати часов, а я буду за рулём, и, таким образом, не будем ругаться по утрам.

Из новостей забыла рассказать, что Ю. Терапиано ходит розовый и толстый и разыгрывает спектра. Ремизов всё ещё жив, но продолжает болеть. Жену Зайцева разбил паралич, и, кажется, он *(Зайцев. – Н. Ч.)* сильно нуждается. Мама продолжает бунтовать, собирается бросить свой дом *(стариковский дом. – Н. Ч.)* и поселиться у себя на участке. Представь себе старуху в 77 лет, одну в бараке. Пока она здорова, ещё кое-как я смогу ей помогать, но если она заболеет, без социального страхования...

Иногда кажется, что сходишь с ума, неужели они не понимают, что всему есть предел и что может наступить момент, когда я не выдержу...

...Начала писать 20 февраля, а продолжаю 10 марта. За это время серьёзно переволновалась, т. к. мама была исключена из столовой и устроила голодовку. Одно письмо за другим – что её некому защитить, намёки на самоубийство. Пришлось написать директору – первый раз в жизни пользуясь званием и положением. Дело как будто наладилось, но я пользуюсь сложившимися осложнениями, уговариваю её уезжать со мной. Виктор сильно жалуется на боли в сердце, на тошноту, он ещё сильнее похудел, а к доктору идти не хочет. Вот, Юрий, – перед тобой развернулась вся картина. На работе нет свободной минуты – ночи и те беспокойны, т. к. дети плачут, а у нас резонанс очень сильный. Прихожу домой. И опять попадаю в обстановку больницы, а когда приезжает мама, то сыплются

потоки злобы на директора, на стариков, на Виктора. Всё-таки удивительное существо – человек. Всё выносит.

Вот, Юраш, на этом я закончу, а то опять отложу на много времени, а ты будешь волноваться.

Посылаю тебе свою физиономию. Видишь, какая покорная старушка...

Ну, вот, родной, пока и всё. Пиши, не ожидая писем.

...Юрий, ты мог бы написать письмо и на rue Pasteus Виктору и мне. Ведь я не говорю, что получаю от тебя письма. Ты сам знаешь, какая для всех радость читать самому, а ты для всех замолчал. Никто не знает, что ты болел, что ты читаешь доклады, и так далее.

Пиши скорее. Любящая тебя крепко, крепко. Твоя Лена».

«02.06.57 г.

Дорогой мой Юрий, плохи наши дела с тобою... Когда я заикаюсь об отъезде, В. приходит в ярость. Деньги тают с невероятной быстротой. Недавно заплатила 35 000 за В. зубы, а сейчас послала деньги за мамин пансион 27 000. И всё в этом роде. Мама ехать не хочет, и тоже всякими вывертами мне мешает.

В скором времени выйдет книга стихов Виктора. Из-за неё было много неприятностей, т. к. Маковский просил деньги.

Как же твоё путешествие в пустыню?! Пожалуй, опять ничего не выйдет. Юраш, а, может, ты бы смог поехать ещё дальше, навестить твоих близких? Помнишь, мы сидели на пляже ночью, я хорошо помню, как ты прощался с океаном. Сейчас я тебе пишу из St.-Remy – сейчас уже вечер на дворе, тёплая, безветренная ночь, а в долине серым пятном наш холм, где мы с тобою ставили палатку. Тут же, правее, замок Madeleine – Port Royale, все эти места я вижу вокруг себя – и всё напоминает о прошлом, а будущего нет. Нужно ждать, пока выслужу пенсию, т. е. когда буду совсем старухой. Когда ты был со мною, я как-то не видела всего, что вокруг меня делается. Не видела, т. к. была счастлива. А сейчас картина совсем ясная. Я работаю и ничего не имею – другие не работают, занимаются любимым делом, проводят время, как им нравится, ну, как же могут они согласиться на мой отъезд?! Так думать подло, но, к сожалению, это правда. В. даже не возражает, чтобы я перебралась совсем в St.-Remy, он, конечно, останется в Медоне. Завтра буду на лекции Рибара – это самый отрадный момент. Пиши о себе всё, не надо скрывать ни хорошего, ни плохого. Как твое дело с квартирой? Знала бы я – была бы эгоисткой, и все твои жуки и охота были бы только мечтою. Ник. Ник. писал, что ты сильно изменился, болезнь подтянула. Я всё-таки не прихожу в отчаяние и верю, что так не будет долго продолжаться. Я хорошо понимаю, что как раз сейчас, когда моя пенсия увеличивается каждый месяц, глупо всё бросать, да притом зная хорошо, что сердце моё перестало работать, как раньше, и что каждое усилие ухудшает его состояние. Когда я говорю Виктору, что не хочу подыхать, он мне отвечает: “Мы все погибаем”. Конечно, мы не молодеем, но если не работать 55 часов в неделю, плюс 2 ночи, плюс дорога, то, возможно, старость не так бы спешила.

Я тебе уже писала, что моя пенсия частная и что, даже уехав, я буду её получать... Юр, береги себя, тебе нужно ещё много жить, т. к. я не хочу и не могу поверить, что из-за денежного вопроса мы никогда не встретимся. Сейчас, как ни страшно об этом говорить, но только смерть развяжет узел. Роман Д. (совет-

ского диссидента Даниэля. – Н. Ч.) произвёл много разговоров, много толков, а московский съезд писателей подействовал ещё менее выгодно. Может быть, я ошибаюсь, но зачем “семейную кухню” выносить за границу? Если бы ты видел американские, радостные комментарии, то, наверное, пришёл бы в ярость. Дело в том, что здешние порядки всегда законны, и всякая подлость замалчивается – это называется хорошим тоном. Да и народ-то весь озабочен только своим бифштексом, но критика развита на все пять с плюсом.

Ну, родной, целую крепко.

Пиши почаще. Крепко любящая тебя. Лена».

«12.10.57 г.

Дорогой Юраш, теперь о твоём последнем письме, где ты мне даёшь отпускную. Помнишь, ты пишешь, что я практик, а не политик и даже не философ. На это я тебе отвечу – я просто человек, и человек довольно честный. Для меня главное – где я нужнее, а не где мне лучше. О том, насколько это легко, – разговор переходит на личное, его лучше не касаться.

Я тебе не писала очень давно. Ты знаешь, что я была на юге, у наших знакомых. От них пришлось перекочевать в палатку, потом на неделю раньше вернуться в Медон...

...Когда пишет Ник. Николаевич, то чувствуешь его таким, как он есть. Не сердись, но твои письма не близкие, не родные – ты пишешь, как говоришь с посторонними людьми. Это не упрёк, я тоже не могу писать, не умею. Если бы тебе передать все подробности нашего пребывания на юге, то пришлось бы заполнить страницы. А главное, нужен талант, чтобы описать всё в лицах. Во всяком случае, Еринька по истерическим выходкам превышает намного Виктора. А главное – для её детей (не для необходимого, а для их прихоти) может сдрать живьём шкуру.

...Мысленно я опять бываю на наших местах. Часто вспоминаю вечер, проведённый на берегу океана, – помню, как ты с ним прощался. И ещё последнюю минуту – когда хлопнула калитка.

Сейчас я работаю два с половиной дня в диспансере, на rue St.-Georges, и два с половиной дня и две ночи в St.-Remy. В Париже оживаю, и часто ловлю себя на том, что жду с тобою встречи.

Юрий, я, конечно, не философ и не политик, но, случайно, читая последнюю речь Хрущёва, ты не вспомнил наших споров, что всё-таки человек не пустое место? Помнишь, как Рибар настаивал, что любая (человеческая единица) может что-то внести в общее дело. Пишу об этом, т. к. сейчас я вожусь с детьми и фактически никакой пользы, кроме ускользающих денег, ни для людей, ни для себя, ни для сердца.

Пиши, Юрий, не ленись, во всяком случае, что бы там ни было. Пусть он землю стережёт родную, а любовь Катюша сбережёт.

Крепко, крепко целую. Твоя Лена».

«03.11.57 г.

Дорогой Юра, у нас наступила осень, сейчас воскресенье – я в St.-Remy, окно выходит как раз на то место, где мы с тобой увидели змею. Жизнь идёт однообразно, оживаю, когда бываю в Париже и вижу движущихся людей. В St.-Remy у

меня постоянное сковывающее отчаяние. Пробовала уйти, переменить работу, но это очень трудно, да ещё – главное – это то, что от себя не уйдёшь.

Получили письмо от Николая Николаевича. Письмо грустное. Ему, как видно, очень трудно справиться со своим одиночеством. Потеря жены, несмотря ни на что, очень для него тяжела. Мне очень жаль старика. Игорь с семьёй должны были перебраться поблизости. Почему никто из вас не пишет, как они живут? Я знаю, что Ольга работает. Знаю, что Игорь работает. Но ведь все работают, а как они живут, изменился характер Ольги? Какой стал Алёша? (*Алёша Вышневецкий – сын Игоря и Ольги. – Н. Ч.*) А Игорь, ведь он родился во Франции, чувствует ли он это, или сразу слился со своим народом?

Сейчас я перечитываю «За правое дело» Гроссмана и невольно улыбнулась: Крымов разошёлся со своей женой, она ему писала дружеские милые письма, описывала виденные его пьесы в театре. Крымову не были интересны её рассуждения, а было интересно, с кем она была в театре. Думаю, этот пассаж письма объяснить не нужно.

В понедельник буду на лекции Рибара, хотя с последней его лекцией я совершенно не согласна. Ты знаешь, какой он был поклонник России. А теперь он полон колебаний, и, как мне кажется, в его оценке очень много личного, и ещё стариковского. Я думаю, что уточнять не стоит. Он ученик Сталина – в этом и есть весь секрет...

...Жизнь во Франции становится всё тяжелее. С апреля до октября мне пришлось заплатить 60 000 одного налога. Расход на болезнь я не считала, но в тот же срок приблизительно 75 000... Интересно, что франк уже давно пал, а узнали мы об этом только сейчас...

...Как прошла твоя последняя поездка в пустыню? Я знаю, что выпал снег. Ник. Ник. волновался, что вы все перемерзнете.

Ну, вот, дорогой, и все мои новости.

Целую крепко, крепко. Лена».

* * *

Потом наступил 1958 год. Об отъезде говорится всё меньше, но Елена не теряет надежды увидеться с Юрием. Расходы растут. Старость и болезни – преследуют. И только любовь остаётся неизменной. Она и спасает от отчаяния в «эмигрантском аду».

«04.04.58 г.

Дорогой мой Юрий, вот скоро настанут пасхальные праздники, но не нашла я спокойной жизни, не нашла лекарство от тоски – я работаю и днём, и ночью...

(Кроме того, она даёт уроки ученицам, а те не особенно прилежны, но она их учит. – Н. Ч.)

Ты спросишь, почему я распинаюсь за чужие грехи – да опять всё по той же причине: ведь мои ученицы не богачки, им нужно работать. Я знаю, что никто другой их не подготовит – просто физически не выдержит нагрузки. Я освободила их от ночной работы, чтобы все могли присутствовать на уроках... С 27 февраля я ни разу не отдыхала...

...Перед окном дорога, по которой проходят и проезжают камперы, часто вижу согнутые спины велосипедистов. Да, Юрий, всё это было, было – было солнце,

была радость, а сейчас я стараюсь в работе не то что забыться, а оглушить себя усталостью. На праздники я останусь только с одной помощницей, даже в окно не будет времени высунуть нос.

...Вот сейчас получила жалованье, заплатила за мамин пансион, отправила деньги Виктору, хотела купить чулки – но не куплю. Хорошо, что окончила выплачивать долг. 60 000 было нелегко сэкономить.

А теперь, Юрий, о “вторгшихся жильцах” (*речь идёт об арабах, которые поселились в бывшей квартире Софиева. – Н. Ч.*). Не в них дело. После твоего отъезда я нашла груды бумаг, сброшенных в коридор. Среди бумаг были и мои письма, и фотографии, во всём этом копались Кобяк и компания – ещё долго приходил Лев Борисович и другие. Опять-таки не их вина. Нужно было заранее разобраться в бумагах, сжечь самому ненужное. Твои тетради стихов я вытащила из этого мусора, но, к сожалению, целые строки, посвящённые разным лицам, без вариаций встречаются в продолжение многих лет. Над этим материалом нужно много поработать. Написаны они очень неразборчиво. Если будет свободное время, постараюсь тебе их понемногу переслать.

Только что звонила Виктору, он наговорил массу упрёков, т. к. я его всегда посылала к докторам-подлецам (моим личным знакомым и т. д.). В общем, как видишь, всё по-прежнему. Ночью у нас выпал снег, сейчас мелкий, проливной дождь. Невесело мне, Юрий. Твоя фраза “в какой-то мере нашла своё счастье” звучит насмешкой...

Береги себя, Юр. Ведь нам нужно встретиться, наговорить массу радостного, массу горестного.

Целую крепко. Твоя Лена».

«20.07.58 г.

Дорогой Юра, наконец-то собралась написать тебе. Главное моё молчание – это болезнь. 26 июня я потеряла сознание на работе: зашлось сердце. Доктор решил, что это от переутомления. Меня привезли домой. Спала 5 дней. Потом начала медленно передвигаться в комнате – через 10 дней, вечером, в постели припадок повторился. Всю ночь продолжалось головокружение. Было чувство, что весь наш домик и я в нём кружимся с невероятной быстротой. Хотела встать, но свалилась навзничь. Через 15 дней пошла работать, но и сейчас время от времени повторяются припадки, но уже слабее.

Я знаю, что никто бы не выдержал, т. к. три месяца без одного дня отдыха я работала и днём, и ночью, спала урывками, подготавливала к экзамену моих учениц. Девчонки неспособные, а главное – без учебников, без всякой подготовки давать уроки... Девчонки мои экзамен выдержали, а с ними выдержала и я большое испытание собственных сил и знаний...

...Следующим летом я приглашена переводчицей в Россию. Мне нужны адреса людей, которые нас смогли бы приютить по дороге. Пароходом до Крыма, потом в Алма-Ату и обратно, через Москву. Я очень надеюсь, что ты мне поможешь. У нас будет два автомобиля и три палатки. Нас будет около десяти человек. Коммунисты и симпатизирующие, три члена Service Social. Держись, казак, – люди все серьёзные, четыре женщины и шесть мужчин.

Я очень надеюсь не умереть до этой поездки – очень советую и тебе хорошо подлечиться и присоединиться к нашей группе.

Посылка для тебя готова, но пока что никак не найду согласных довести её хотя бы до границы. Спрошу в консульстве. Как ты провёл свой отпуск? Как здоровье? А тебя я не забыла, всё – будто вчера. Нет-нет, да и посмотрю на окно – не идёшь ли? Вот, приеду, посмотрю твоих друзей, твой домик. О моих проектах пока молчу – будет потому что буря, а мне это сейчас очень вредно, но до того времени я или поправлюсь, или никакие грозы уже не потребуются.

Ну, вот, мой Юраш, больше писать не о чем.

Целую крепко, крепко.

До скорого. Твоя Лена».

«22.07.58 г.

...В августе буду разъезжать на велосипеде по всей Vallée de Chevreuse, от St.-Remy до Port Royal. Заеду и в лесок в Cressely – к голубям, там, где стояли палатки. Велосипед уже в St.-Remi – автомобиль будет стоять в гараже, т. к. с моим головокружением я, пожалуй, свалюсь в какой-нибудь овраг, а велосипед менее опасен, да и милее – ближе к прошлому. Я должна буду посещать детей, отданных на воспитание частным лицам. Жаль, что у нас отвратительное лето – грозы и дожди. 14 июля (*День взятия Бастилии, национальный праздник Франции.* – Н. Ч.) – не такое радостное, как тебе казалось издалека. На парижских улицах было разное. Но в Медоне было тихо, очень тихо и грустно. Как раз наше “отпускное” волнение.

О чём я думаю? О многом, Юрий. Готовлюсь изучить как следует своё дело. Готовлю лекции. Всё не теряю надежды быть полезной у себя на родине. Живу в какой-то нереальной раздвоенности. Прошлое и настоящее – и это одно неразделимое – безбрежное – вечное. У тебя, Юрий, не то – ты вспоминаешь, а я проезжаю по тем же дорогам, брожу по тем же улицам. Виктор как-то мне сказал – у тебя обморок оттого, что ты не сознаёшь, не отдаёшь себе отчёта в усталости – и это правда. Я могу спать несколько суток, не просыпаясь, и с такой же лёгкостью не спать неделями.

Конечно, плохо не писать, но ведь это не значит забыть – ты знаешь мои странности – для меня ты совсем рядом, а когда начинаешь писать, то рушится созданная близость и встают тысячи километров, и настоящее особенно остро отзывается на сердце...

...Купила книгу Стейнбека «Гроздь гнева». Если сможешь достать, непременно прочти. Издалека всё кажется другим, и ты, должно быть, забыл, а впрочем, ты и в Париже не теми глазами видел Францию, как я. Стейнбек описывает Америку – но не важно, какая страна, а важно, какой строй и в каких тисках проходит жизнь...

...Мы как бы спаяны цепью событий. Без крови, без смертей разорвать не хватит сил. Дело не в святости. Дело в русской культуре...

Пиши, Юраш, а сердце пускай подождёт, пусть успокоится, ведь не всё зависит от сосудов, у тебя, друг, нервы тоже не канаты...»

«28.08.58 г.

Дорогой Юра, 1 сентября начинается мой отпуск. Последний месяц пошёл мне на пользу: загорела, головокружения и обмороки ушли в давность. Моё лекарство – велосипед и яблоки. Их в St.-Remy невероятное количество. Неплохо было бы и

тебе запастись большим количеством. Яблоки обладают свойством – расширять сосуды, растворяют холестерин и очищают кровь...

Еду я на юг с Виктором tête à tête, Еринька остаётся в Париже...

...Виктор ни за что не хочет без меня ехать, узнав, что моё сердце совершенно горизонтально...

...На юге я отдохну, т. к. там мы с тобою не были, а вот St.-Remy и вся дорога напоминают о прошлом. Правда, я часто вспоминаю и твоё упрямство, например любовь поспать утром, и многое, что нельзя забыть, но это только умственное упражнение, а главное, никакими средствами не вышибешь...

Пока ты соберёшься написать, я уже успею вернуться. После отпуска буду безвыездно, целый месяц, на работе...

...В Париже я не бываю, т. к. приезжаю в Медон только на два дня в неделю, а остальное время остаюсь на работе и ночью. У меня хорошая комната с видом на Château de la Madeleine. Побывала в Cressely, прошла мимо нашего участка. Там, где был колодец, стоит вилла, на противоположной стороне маленький домик. Cressely превращается в курортный городок, всюду проведена вода, вместо маленьких хибарок выросли красивые дома с садами. Около старой часовни выстроена новая церковь.

О поездке в Алма-Ату мы говорили не за чаем, а за стаканом водки. Конечно, до Алма-Аты в автомобиле не добраться, да и времени не хватит, но ведь Николай Николаевич поехал гостить в Москву, следовательно, если у тебя явится желание встретиться, то это осуществимо...

Брат Ериньки был в Москве, говорит о своих впечатлениях со слезами восторга. Конечно, многое уже изменилось, и такие, как я, с нашими паспортами можем получить aller et retour. Выход прост: и ты – когда захочешь, можешь приехать к нам в гости. Стол и кров у тебя будет, следовательно, нужны деньги только, и в дорогу.

Конечно, если “домашние” тебя не понимают, но по личному опыту я знаю, если ты чего-нибудь захочешь, то никакие ни слёзы, ни даже смерть тебя не остановят...

...Ты мне предлагаешь приехать, но, Юрий, во-первых, у меня мать, она уже не та, которую ты видел. Недавно явилась в St.-Remy в длинном бальном платье фиолетового, яркого цвета, поверх платья дождевик, коричневый, грязный. Сейчас её нельзя назвать вполне нормальным человеком. Ну, как же я могу её оставить, или взять с собой, ведь в какой-то момент она может наделать невероятных и непоправимых глупостей.

Ты сам пишешь, что климат для сердечных больных не подходит – у меня очень сильный выдох. Я пробовала брать горки на велосипеде, но одышка настолько сильная, что совсем задыхаюсь, да и не верю я тебе, что ты один. Не похоже это на Юрия, на того Юрия, который брал от жизни все её дары, брал и отнимал, не считаясь ни с чем и ни с кем. За последние годы я очень изменилась, постарела и очень устала жить. Я тебя ни в чём не виню, но главная разница между нами – это отношение к ближним. Ты всё это и сам хорошо понимаешь, и знаешь меня достаточно, знаешь, что ради своего счастья я не могу оставить ни матери, ни Виктора, которые без меня не смогут прожить и нескольких месяцев.

А ты, Юрий, уже живёшь несколько лет, живу и я, следовательно, мы сильнее и крепче. Выход есть, подсказывать его тебе я не буду, да и было бы бесполезно

– ты сделал выбор, и, конечно, если бы нужно было его повторить, то поступил бы так же.

Ты не любишь наших разговоров, но сегодня чудная, тёплая ночь – в такие ночи тяжело дышать прошлым, тяжело уезжать в отпуск. Пора спать, бабочки и мотыльки заполнили всю комнату, путаются в волосах.

Пиши, Юраш. Целую крепко. Твоя Лена».

«05.11.58.

Дорогой друг, верно, время делает своё дело, и ты привыкаешь к новым друзьям. Месяц провела на юге. Отдохнула, но было очень и очень скучно. Виктор ловил рыбу. От нечего делать я поймала пять креветок. Я думаю, что ты уже знаешь, что Иванов умер в сентябре (*Георгий Иванов – известный русский поэт. – Н. Ч.*). Одоевцева сейчас в Париже. Я связала рыбу, креветок и смерть Иванова, т. к. известие пришло как раз в это время. Померанцев собирался у него погостить, но уже не застал его в живых. Точно не знаю, но думаю, что у Иванова был рак горла.

...О тебе пустили слух, что ты отравился. О Ладинском – что он повесился, на что знающие отвечают, что он “повесился”, но не очень повредил здоровье.

Ну, а почему же ты не пишешь? Я знаю, что в твоём домике нет воды, нет электричества. Знаю, что ты всё так же интересуешься событиями во Франции, но я не знаю, помнишь ли ты адрес в St.-Remy?

...В августе месяце я разъезжала на велосипеде, в этих местах бывал и ты, и этот месяц был одним из лучших, проведённых за эти годы...

...Мама часто приезжает в Медон. Виктор намного спокойнее, но всё продолжает болеть: то ангина, то грипп, то насморк. (*Судя по всему, он стал «профессиональным больным», но это не помешало ему прожить долгую жизнь: он пережил и своего друга Ю. Софиева, и свою жену Елену Люц. – Н. Ч.*)

Ох, и устала же я, мой Юраш! И как бы хотелось положить голову на твоё плечо, закрыть глаза, и чтобы, открыв, можно было рассмеяться и рассказать о кошмаре, который был не реальностью, а отвратительным сном...

...В Париже бываю очень редко, но как только попадаю в уличную толпу, становится немного веселее, всё же видишь людей – кругом люди, которые чем-то живут. Скучаю я, Юрий, но ведь причина серьёзная, я ещё хочу жить, хочу что-то делать полезное, а вокруг мертвечина...

...Ремизов всё ещё жив, хотя почти совсем слепой. Еринька ждёт своего сына, который должен приехать на 10 дней из Африки. Вышла книга стихов “Певчий час” В. Мамченко. Если бы ты нашёл возможность, то можно бы попробовать издать и твои стихи. Но для этого нужно твоё согласие. (*Она не знала, что любое издание советского человека за границей без разрешения КГБ расценивалось как подпольное и антисоветское деяние, и человек немедленно записывался в диссиденты. – Н. Ч.*)

...Самое ужасное, что не с кем даже поговорить о чём-нибудь более или менее волнующем. Девчонки мои (*ученицы. – Н. Ч.*) совсем мединетки. Кроме платьев и кавалеров ничего интересного нет на свете. Я недавно пошла на наше место (там, где мы ставили последний раз палатку). Всё та же бабушка и даже собака та же, только очень постарели обе, а вот место, где ты брал воду, я не нашла...»

* * *

Писем Юрия Борисовича к Елене в архиве сохранилось немного. Он не все свои письма копировал. А писал их редко потому, что каждое его письмо – это своего рода литературное эссе. Письма пространны и хорошо продуманы, отточены, как может быть отточено художественное произведение, потому были черновики.

Вл. Сосинский, который признаётся, что пишет иногда до трёхсот писем в месяц, правда, большинство из них буквально в несколько строк, к переписке с Юрием Софиевым относится серьёзно и на каждое его письмо отвечает обстоятельно.

О том – его письмо от 8 мая 1965-го, посланное из Кисловодска, где Владимир Брониславович лечит жену и сам поправляет здоровье, заодно перечитывает Лермонтова, «Героя нашего времени», ведь и Лермонтов когда-то лечился на этих минеральных водах и сюда поместил своего Печорина. Юрий Софиев тоже бывал там. Ему интересно всё, что касается Лермонтова.

Эпиграфом к письму Сосинский ставит строки из февральского послания Ю. Софиева: «Или вдруг затоскуешь по самой наивной и смешной, простодушной благожелательности к людям»:

«А вот Ваше письмо из ряда вон выходящее и на него первомайской открыткой грешно отвечать, а кроме того, оно меня задело за живое. Прежде всего, это касается моего сорокалетнего бегства от творчества (любил писать только с 1918 по 1927 год!)...»

* * *

Стоит немного рассказать и о Владимире Сосинском, раз уж зашла о нём речь, тем более что Юрий Софиев состоял с ним в активной переписке.

Владимир Сосинский в самом деле мало писал, больше занимаясь семьёй, которая всё увеличивалась, общественной деятельностью, обширной перепиской, реабилитацией бывших советских военнопленных, которые участвовали во французском Сопротивлении на острове Олерон. Они стали героями, но, вернувшись на Родину, попали в разряд врагов и прошли все круги ГУЛАГовского ада. Вл. Сосинский добивался возвращения им доброго имени и надлежащего почёта. Он получал много писем от родных живых и погибших героев. На письма эти непременно отвечал. И творчество его ограничивалось только воспоминаниями о войне, да и то он постоянно отлынивал от работы, к огорчению своей жены Ариадны Викторовны. Писать начал, как сам говорит, только на отдыхе в Кисловодске, пристыженный Алексеем Эйснером, который ежедневно, с 10 до 16, работает над очерками об Испании, сидя в библиотеке. А писал Эйснер в библиотеке потому, что дома не мог. Он ведь, после освобождения из сталинских лагерей, жил с женой и маленьким сыном в коммуналке, в комнатке в 13 кв. метров, в соседстве с уголовником.

Начал Сосинский писать ещё и потому, что вокруг ни одной знакомой души и не с кем «поболтать», а он любит поговорить и шутит над этой своей слабостью: мол, если бы он оказался в Москве во время культа личности Сталина, то его болтливость закончилась бы прогулкой по магаданской тундре.

Подшучивая над своей творческой ленью, Владимир Брониславович вспоминает одного американского учёного, который всю жизнь трудился над «Историей демократии». Работал он по самому усовершенствованному методу: по ночам,

попивая вино, диктовал на магнитофон. Целых 20 томов наговорил. Когда после его смерти стали прослушивать эти записи, то оказалось – там решение многочисленных кроссвордов, в которых «великий историк» был действительно очень силён.

Но Вл. Сосинский, лентяй и противясь писательскому труду, в то же время сообщает:

«Я сейчас в деревне (42-й км), на чужой заплесневелой даче – пишу повесть – как Вы думаете, о чём? Как Бунин – приятно вспомнить – о любовных делах детства и юности. Не знаю, что получится. Может – не для печати...»

И чуть позже:

«Заканчиваю (дохожу до 500-й странички школьного формата) автобиографическую повесть “Я сызнава живу”, с эпиграфом из Пушкина:

На старости я сызнава живу.

Минувшее проходит предо мною...

...Немного лиц мне память сохранила,

Немного слов доходит до меня,

А прочее погигло невозвратно...»

Но продолжим письмо Вл. Сосинского от 8 мая 1965 года из Кисловодска:

«...Напомню Вам, о чём Вы писали: о “доходяге Пегасе”, об убывающих силах, о том, что “как-то так выходило в жизни – литературой приходилось заниматься между делом”, после изнурительной работы, о Пете Ростове, который возится со своим барабанщиком. И главное, конечно, о мирных товарных составах на запасном пути и о доброжелательности к людям.

По счастью, Ваше письмо ничего не теряет от своей трёхмесячной давности – в нём имеются зёрнышки вечности...»

Вот одно из таких писем Ю. Софиева – с «зёрнышками вечности» – 1958 года, к Елене Люц:

«Родная моя Лена!

Отправил Тебе последнее моё письмо, а через два дня получил от Тебя. Хотя, сознаться, терял всякую надежду получить от Тебя весточку. Конечно, всё, что Ты пишешь, для меня очень грустно, очень грустно. Ибо по всему вижу, что Ты окончательно примирилась с судьбой, и об изменении её и не помышляешь. “Прошлое не вернуть”, “что произошло, то произошло”... Прошлое никогда не возвращается. И бессмысленно его пытаться вернуть, но строить будущее – это в нашей власти.

...Я знаю, что Тебе тяжело, родная, но Твоя постоянная примирённость с судьбой, вернее, постоянный компромисс с собой наполняют меня большой горечью. С точки зрения здравого смысла, вероятно, Ты совершенно права. После почти 30-летней работы Ты накануне заслуженного отдыха, материально вполне обеспеченного. Да и быт, конечно, вполне устоявшийся, и тот быт, в который Ты вросла, – французский, и, надо откровенно сказать, – на наш совсем не похожий.

Я Тебя звал, по существу говоря, всё начинать сначала, а в нашем возрасте – это вовсе не легко, да и условия совсем другие.

Я отдаю себе отчёт, что с моим характером, с моей нетребовательностью, с моей привычкой к самым суровым жизненным условиям, к безразличию к уюту и комфорту – я никогда не имел их в жизни, – с моей приспособляемостью и с моей уживчивостью с людьми – начать новую жизнь, в новых условиях, мне

было, вероятно, гораздо легче, чем Тебе. Да я и нашёл в этой новой жизни очень много – осмысленность существования, любимый творческий труд и, наконец, тот новый мир, к которому я всей душой стремился и, на моё счастье, как Ты пишешь, нигде не смотрел на него “из прекрасного далёка”, через розовые очки, а ясно предвидел и представлял все его трудности и шероховатости, всё различие быта, характеров и т. д. Вернулся в свой дом, к своему народу, и уже не чувствую себя чужеродным телом, и это не будет риторикой, если я скажу, что я в полной мере обрёл родину, и разделяю вместе со всеми советскими людьми её великую и трудную судьбу, и по мере сил, по мере возможностей кладу и свой кирпичик в её огромную созидательную работу.

И я понял ещё, что Родина – это не географическое положение, или не только географическое, и это не главное. Здесь, в Казахстане, я, по совести, не чувствую географически “мою Россию”, здешняя природа экзотична и не похожа ни на Северный край, ни на Волгу, ни на Украину, ни на Дальний Восток. Словом, не похожа на те образы, с которыми я был связан в детстве. Но понятие Родина – это, прежде всего, “свои” люди, для меня это, прежде всего, конечно, русские люди, “свой” язык, ощущение, что ты находишься среди своих, и в жизни, и в работе чувствуешь “локоть”. Быт современной интеллигенции, конечно, тоже отличается от моих детских воспоминаний, и, может быть, впервые, когда, совсем недавно, я попал в семью очень крупного инженера (он старше меня), на меня нахлынули именно детские воспоминания. И я ощутил связь прошлого с настоящим (в плане моей судьбы), ибо вся обстановка напомнила мне прежнее, домашнее обустройство – то же чёрное лакированное пианино, та же, на высоком штативе, лампа под широким абажуром, около неё те же книжные этажерки с книгами, в добротных переплётах, с золотым тиснением на корешках, картины на стенах, вечерний стол с русскими пирогами и т. д. И хозяйка, играющая “Баркороллу” Чайковского и “Лунную сонату”... Я закрыл глаза и увидел мою мать, за пьянином, в доме у деда. И мне показалось, что я в Нижнем или в Старой Руссе...

Но зато как меня радует и волнует, когда я вижу новый быт миллионов простых людей, именно как масс народа, как он не похож на мои детские воспоминания, какой могучий прорыв в культуру, в развитие, в благоустройство. И если бы Ты знала, какая у нас теперь “на Руси” чистота и чистоплотность! До какого блеска наши хозяйки вымывают, выскабливают свой дом и очень любят его украшать.

Как грустно, что и годы нельзя повернуть назад! Как бы я хотел прожить ещё семь лет, чтобы увидеть осуществление наших грандиозных планов! И как грустно сознавать, что я уже не смогу увидеть то, что увидят Игорь, Алёша. Как грустно, что масштаб человеческой судьбы так ничтожен по сравнению с масштабом исторических судеб. А как бы мне хотелось увидеть полное торжество наших идей.

Ты знаешь, Лена, по своей натуре я не был борцом и потому слишком мало сделал в плане политической борьбы, и, может быть, израсходовал силу на борьбу внутреннюю, но эти поиски, эти истины никогда не были для меня стремлением к внутреннему самосовершенствованию (ты можешь сказать: “Увы, к этому ты сам был весьма равнодушен”). Меня поглощал всего план социальной правды, и потому это были поиски правильного политического пути. Здесь я старался быть, прежде всего, искренним и честным с самим собой. И ещё, что

я могу сказать, положила руку на сердце, думаю, и люди меня близко знающие, не будут это отрицать, – я был чужд какой бы то ни было личной заинтересованности. А искать путь мне было трудно, всё было очень сложно, и сложно было и наследие прошлого: нужно было переболеть и среду, и воспитание. Словом, всё то, чем меня пичкали в детстве, все эти пути нужно было отбросить, всё передумать заново, на основе своего собственного жизненного опыта. Мне помогла, кажется, судьба, бросив меня в “юдоль изгнания и бедствий”. Нужно было увидеть по-новому и самый ход истории, вероятно, по-новому увидеть и человека... Много происходило на Твоих глазах. И когда мы вместе с Тобой ходили на лекции по марксизму, Рибар уже не много мне давал, ибо мои убеждения и мои взгляды уже вполне сложились, и то, что нам рассказывал Рибар, я знал уже по первоисточникам... Всё это привело меня на родину, и, казалось бы, и нужна была целая жизнь, а вышло так, что на подготовку, на поиски она ушла целиком! Это я с Тобой разболтался, потому что я, наконец, сижу за своим столом, на котором горит настольная лампа в 100 свечей! Тикает будильник, за окном лают собаки, и стоит зимняя, совсем деревенская, здесь, у меня под горами, ночная тишина.

В комнате, правда, не особенно тепло, т. к. уголь горит паршиво, а саксаул я ещё не удосужился привезти. Сейчас, вернувшись с работы, обнаружил, что кусок штукатурки потолка отвалился почти над самым изголовьем кровати, может быть, от подземного толчка, а вернее, от того, что сучьи девки-штукатуры из рук вон плохо работали. И всё-таки мой спартанский уют хоть и своеобразен, и многим кажется полным отсутствием уюта, а для меня уютен.

Походная кровать, над ней охотничьи доспехи, географические карты, со стен смотрят милые сердцу лица и безмолвные ряды книг. Всё это любо моему сердцу с юности.

Необходимо ещё радио. На телевизор пока что не хватит пороку. И тишина. Шарик набегался, я его выручал, и теперь он развалился на полу, шевелит хвостом и смотрит на меня собачьими преданными глазами.

“Всё это так”, как говорится в одном моём стихотворении, всё это так, но в этой новой моей жизни отсутствует одна “вещь”. “Вещь”, которая бы могла преобразить всю эту картину, окрасив её в особенные, тёплые тона, – личное счастье. Оно, как мне казалось, было в наших с Тобой руках, Лена. Ущербное, неполное, подвергнутое испытаниям, для Тебя в особенности трудное и, возможно, горькое, да и краденое, но оно было нашим. И мне верилось, что здесь, дома, в новой жизни наконец оно станет, сможет стать не тайным, не урывками, а свободным, открытым и полным.

Было у меня давнишнее стихотворение – совершенно мною забытое, в котором говорится о том, что я думал о счастье, как о гоголевской галушке, – разинь рот, оно само в рот прыгнет, а утратив, понял, что и счастье берётся силой. Мы с Тобой силой взять его не сумели. Приходит в голову ещё одна мысль: Ты часто меня упрекала, родная, что я живу прошлым – воспоминаниями. Теперь я знаю, это было от расточительства, потому что будущего, будущего было ещё слишком много, слишком много было ещё впереди, так ощущалось, и потому прошлое не казалось безысходным. Теперь же, когда будущее стало столь сомнительным, каждое мгновение настоящего приобрело пронзительную ценность, а воспоминания прошлого перестали меня тешить и утешать, ибо теперь они свидетельствуют,

беспощадно подчёркивают, что жизнь прошла. Что уже нет возможности что-либо исправить или начать заново.

Ну, вот, моя милая, вижу, что и моё письмо вышло не весёлым. И, кроме того, всё эгоистически заполнено обо мне. Пиши мне о себе подробно и побольше, а главное, почаще, не будем зря транжирить считанные дни.

Ну, крепко, крепко Тебя целую. Твой Юрий.

Пока пиши на Институт...».

* * *

Тут мне хочется сделать небольшое отвлечение. Я обратила внимание, как поэтически и естественно написаны картины быта, знакомого с детства, жильё старого интеллигента, но Софиев, вздохнув по ушедшим временам, спохватывается: надо же отречься от них! Он же теперь за новый, советский быт! И пошло-поехало, как говорится. Включаются лозунговые, плакатные штампы, которые будут повторяться в каждом подобном высказывании, в каждом стихотворении, где он касается нового своего бытия. Теперь, по прошествии лет, когда уже мы сами вышли из тех времён, видно действие своего рода массового зомбирования. Идеология точно рассчитала психологическое воздействие советских лозунгов на умы граждан. И даже такой наблюдательный, думающий человек, философ по природе, как Юрий Софиев, не устоял перед хитрыми сетями идеологии, и в его стихи, где «мира восторг беспредельный», вклинивается то и дело барабанный бой плакатных клише, как вклинивался он и в стихи, например, Павла Васильева или Ярослава Смелякова, Николая Тихонова, Владимира Луговского и многих других, так хорошо и ярко начинавших советских поэтов. Они отдавали дань красному идолу, чтобы идол не заподозрил в них врагов советской власти и не отнял свободу или жизнь и можно было дышать тайными чувствами, чистыми от любой власти.

В своих воспоминаниях об отце Игорь Софиев так рассудил его «красные восторги»:

«Отец, как и вся наша семья, в той или иной степени, был, несомненно, человеком левых убеждений. Однако в отличие от моего деда, Н. Н. Кнорринга, и даже матери, которые смотрели на события, происходящие в СССР, более трезво и реалистично, с налётом определённого скептицизма, отец был человеком увлекающимся, и все его суждения были порой восторженно-безапелляционными, со стремлением к идеализации. Даже моя бабушка, Мария Владимировна Кнорринг, которая в молодости была эсеркой и, как отмечает отец в своих записках, всю жизнь оставалась социалисткой, правда, отмечу от себя, бердяевского толка, и та часто с иронией относилась к отцовским восторженным высказываниям...»

(Надо сказать, Юрий Борисович с такой же иронией относился к их высказываниям, и считал их идеалистами, особенно, Н. Н. Кнорринга, который, по мнению Ю. Б., ничего не понял в советской действительности, даром что историк. – Н. Ч.)

«Считая себя не социалистом-интеллектуалом, а именно социалистом-рабочим, отец пытался наладить хорошие дружеские отношения с французскими рабочими, среди которых ему приходилось вращаться. (Он даже участвовал в их забастовках, и очень этим гордился. – Н. Ч.) Будучи компанейским и очень дружелюбным человеком, это ему нередко удавалось, однако такая дружба почти всегда была

поверхностной, т. к. в ней было мало связующего, общего. Она сводилась к общебытовым интересам. И отец не мог не ощущать некую свою отчуждённость в общении со своими французскими товарищами по работе и по политическим взглядам. Тем более что, кроме, конечно, коммунистов-интеллектуалов и теоретиков марксизма, как Арагон, Гароди и др., французская компартия состояла в общей своей массе из людей, которые, как они сами говорили, “борются за свой бифштекс”, и многие из них, получившие какое-нибудь случайное наследство или разбогатевшие каким-либо другим способом, быстро отходили от этого движения и становились обыкновенными мелкими буржуа.

Отец, конечно, чувствовал это расхождение между идеей (идея часто догматична!) и реальностью, однако пытался опровергнуть все возникающие сомнения – и чужие, и, по-моему, даже свои. Возвратившись на Родину, он не мог не заметить ту пропасть, которая лежала между его идеалами и плачевной действительностью. Но даже здесь он как-то пытался объяснить эту неприглядную действительность, и, я думаю, отнюдь не из-за страха как-то себя скомпрометировать перед властью имущими, а совершенно искренне, а может быть, и из-за боязни признаться перед самим собой в крушении своих идеалов.

Как-то, в споре с отцом, я привёл ему несколько конкретных примеров руководящих партийных работников, которые являлись попросту жуликами и проходимцами. Отец мне с пылкостью ответил:

– Да ведь это не коммунисты! Это снабженцы!

Впрочем, снабженцем являлся лишь один из них...»

Возможно, когда-нибудь советское бытие будет «переварено» историей до состояния романтической дымки, а пока – пока, в середине XX века, когда жил Ю. Софиев, всё ещё не «переварено», всё ещё сырое и несъедобное.

«Всё это так, – цитирует себя Юрий Софиев, – но в этой новой моей жизни отсутствует одна “вещь”. “Вещь”, которая бы могла преобразить всю эту картину, окрасив её в особенные, тёплые тона, – личное счастье...»

Во все времена именно «личное счастье» преображало жизнь, и только оно являлось самым насущным, какими бы прогрессивными идеями ни одержимы были современники, о каком бы всеобщем счастье человечества ни мечтали.

«09.12.58 г.

Дорогой Юраш, я сейчас читаю Короленко, его ссылка около Вологды (приблизительно 1880 год). Глушь, отсталость, суеверия, и вот в какой-то части его воспоминаний – я чувствую большое родство с ним, хотя я живу в столице культурной и передовой страны. Иногда я вспоминаю, как ты меня сравнивал с птицей, залетевшей к ангелам, и как жаль, что крылья разучились служить, или, может, не та атмосфера, во всяком случае, такое дикое одиночество, что не знаешь, куда себя девать. Некоторые – вроде Ив. Ив. (И. И. Баранов. – Н. Ч.), те чего-то трусят, оглядываются по сторонам, а чего и кого они боятся, я не пойму, может, это от спиртного перегара. Надоели мне и жалобы, и злобствующая критика. Всё это как-то несуразно и, на мой взгляд, глупо...

... Юра, а как относятся доктора к твоему желанию отправиться в экскурсию по Гималаям? Ведь твоё сердце не должно улучшить своего ритма на такой высоте. Я не знаю русских медицинских терминов, а пишешь ты настолько неразборчиво, что я так и не знаю, что у тебя такое – myocardite, infarctus, или rétrécissement.

или ещё что. Во всяком случае ни водка, ни курево пользы не приносят, а так же и разряжённая атмосфера – ты, может, и на Луну собрался поехать?! Или, в виде Лайки, в спутнике полететь? Не забудь тогда и мне просигнализировать...

...Из парижских новостей главное: смерть Отцупа, смерть Даманской, болезнь Терапиано – который скоро два месяца как лежит в госпитале, похудел на 11 кило – от операции хирург отказывается. Моё последнее радио показало очень сильное расширение аорты, приблизительно: одна треть лёгких. Сильно устаю, а иногда до бешенства раздражительна. В одном из таких приступов и будет конец земному раю. По правде, особенной горечи расставания с ним я не чувствую. Сижу уже два месяца безвыходно в St.-Remy – дети и недоросли-девчонки – пустые и глупые.

...У Ериньки младший сын, на которого возлагалось столько надежд, не смог выдержать даже экзамена в Р.Т.Т. Он пропадает по кафе, а мамаша всё продолжает приносить кофе в постельку...

Пока целую крепко, крепко. Твоя Лена».

«09.05.59 г.

Дорогой Юраш, получила письмо и сейчас же отвечаю, а ты оставил три письма без ответа. Я и решила, что нечего надоедать. Виктору ты тоже перестал писать. Из новостей только одно: моё заключение. Сижу и люблюсь видом Château de la Madeleine, по вечерам смотрю на звёзды. С 15 декабря у меня было только два свободных дня. Если ты провожаешь экспедиции и тоскуешь, что не можешь принять в них участие, что же ты стал бы делать на моём месте? Я не могу даже пойти на почту опустить письмо. Наша “Nouvelle Elorli (Étoile?)” всё не может найти мне помощницу. Мучительна однообразность работы, бессонные ночи и полное одиночество...

Дома – в Медоне – всё то же. Виктор ещё сильнее похудел, настроение у него гадкое – здоровье ещё ухудшилось. На нашу Пасху ко мне приезжала мама. Осталась у меня 5 дней – все дни провела в постели, кроме рычания, жалоб, придинок – ничего нового...

Мне почему-то кажется, что ты моих писем не получал. И, может, и это где-нибудь затеряется... Читала последнее письмо Кнорринга. Я знаю, что он окончил книгу воспоминаний об Ирине («Книга о моей дочери». – Н. Ч.), знаю, как его волнует судьба её могилы. Виктор привёл могилу в порядок, много раз ездил на кладбище. Ник. Ник. просил Виктора взять его 10 000 из редакции. Виктор их взял (чтобы заплатить за содержание погребения. – Н. Ч.).

Если удастся получить отпуск, останусь в Медоне. В Медоне есть хотя бы радио, можно поехать в Париж. В прошлом году была на юге, но скучала до отупения. У Ериньки младший сын отбывает воинскую повинность. Его, кажется, направляют в Германию. Старший на днях женится на румынке. Её родные против брака, т. к. не хотят, чтобы их дочь стала женой христианина. Как видишь, истории все в том же роде, как и три года назад. Между прочим, о твоей статье – ты, Юр, действительно растратил силы по-глупому. Ты разбрасывался и из-за талантливости не ценил ни времени, ни сил. Не ценил и многое другое. Но, конечно, лучше позже, чем никогда. Я же боюсь, что и это “поздно” для меня никогда не наступит.

Денег на поездку этим летом в Москву у меня нет. Жалованья не хватает даже на самое нужное. При получке жалованья плачу налоги, пансион мамы, посылаю

Виктору 30 000 (на которые сейчас очень трудно прожить), на газету и папиросы у меня остаётся не больше 2 000, отложить из них трудно.

У нас чудная, жаркая погода, тёплые вечера, так бы хотелось пойти погулять, но кроме сада я не имею права оставить свою лечебницу. Иногда хочется выть по-собачьи.

Скучно получать и писать такое нытьё, вот, Юраш, я и не пишу, знаю, как это тошно. Да и к чему это? Часто думаю, что лучше, что ты уехал, – ведь ко мне нельзя и приходить. Посторонним вход строго запрещён. Вот и сижу в тюрьме, тепло, сытно.

Целую крепко, крепко. Спешу передать письмо. Может, ты его получишь. Пиши, не ленись. Поцелуй Шарика в носик».

«22.10.59 г.

Дорогой Юрий, на этот раз я действительно виновата, т. к. не ответила на твоё предыдущее письмо, которое пришло во время моего отпуска. Кипарисовую рощу и место, где стояла палатка, я видела. Долго сидела на месте, где ты прощался с океаном, часто бродила по тем же тропкам и жила нашими общими с тобою думами, последними, такими тяжёлыми, днями перед разлукой. С твоего отъезда прошло четыре года – нет, не четыре – а ушла большая часть жизни, и в то же время это было только вчера.

Я по-прежнему работаю: лечу младенцев, воспитываю и готовлю к экзамену моих учениц. В общем, многосемейное положение... Семь месяцев проработала без выходных дней – подработала немного денег, кое-кого подкормила, опять поставила на ноги Виктора, который очень сильно болел. Сейчас возвращаюсь в Медон на два дня в неделю. Убираю, стираю и отсыпаюсь. На работе я занята по 24 часа в сутки. Дети больные – много бывает ненормальных, могущих умереть в несколько часов без видимой причины.

А помнишь, как вы с Виктором смеялись надо мною, когда я приняла фельетон (путешествие по миру) за чистую монету? Хочется знать всё больше и больше, но я знаю, что времени осталось не много. Смерть меня не пугает – т. к. личной жизни у меня нет и уже никогда не будет...

...Твои письма Виктору я всегда читаю с большим вниманием. Как жаль, что человек морально не поспекает за техникой. Сейчас у меня совсем молоденькие ученицы. Девочки не плохие, но абсолютно испорченные родными. Делать ничего не умеют, не умеют и думать. В 17 лет родные (оберегая от любовных фильмов) водят их только на американские кинорепортажи, где показываются ковбои. Мода сейчас: красные чулки, иногда зелёные, синие. Какие-то острокопечные очки, абсолютно высушенные волосы, то фиолетовые, то соломенного цвета. Волосы похожи на стог соломы. Юбки очень сужены к низу, и поэтому походка похожа на верчение. В головах, пожалуй, и верчения нет, а какая-то дурацкая пустота.

Была на собрании советских граждан, Баранова не видела, что же он проделал с посылкой? Очень жаль костюма и вывязанного мною свитера.

По правде, он (*Баранов. – Н. Ч.*) мне очень и очень не понравился. Думается, что он и Подгорный занимаются теми же делами (*т. е. сотрудничеством с КГБ. – Н. Ч.*). Странное у тебя было окружение. Хорошо, что ты вовремя от них избавился...»

Здесь необходимо пояснение, кто такой Борис Подгорный. Когда-то, в России, занимался он юриспруденцией, а во Франции купил имение в Эрувиле, где летом принимал русских эмигрантов, сдавая им комнаты в большом деревенском доме. Рядом была ферма, парное молоко.

В Эрувиле бывали и Юрий Софиев с Ириной Кнорринг и маленьким Игорем. Наезжал Илья Голенищев-Кутузов с семьёй, Дмитрий Кобяков и другие.

У И. Кнорринг есть стихотворение, написанное в Эрувиле в 1933 году и посвящённое Б. А. Подгорному. Возникло оно в ответ на его замечание, что Ирина Николаевна не может судить и уж тем более писать о России, которую не знает, потому что покинула её ребёнком. Эти слова очень опечалили поэтессу, растревали рану, которая и так кровоточила постоянно.

О РОССИИ

Б. А. Подгорному

Я в жизни своей заплутала.
Забыла дорогу домой.
Бродила. Смотрела. Устала.
И быть перестала собой.

Живу по привычке, без цели.
Живу, никуда не спеша.
Мелькают, как птицы, недели.
Дряхлеет и гибнет душа.

Однажды случайно, от скуки
(Я ей безнадежно больна)
Прочла я попавшийся в руки
Какой-то советский журнал.

И странные мысли такие
Взметнулись над сонной душой...
Россия!
Чужая Россия!
Когда ж она стала чужой?

Россия!
Печальное слово,
Потерянное навсегда
В скитаньях напрасно-суровых,
В пустых и ненужных годах.

Туда – никогда не поеду,
А жить без неё не могу.
И снова настойчивым бредом
Сверлит в разъярённом мозгу:

Зачем меня девочкой глупой
От страшной родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли?!

Финальные строки этого горького стихотворения много раз цитировали, они на слуху, и давно уже стали жить отдельно от остальной исповеди, а стихотворение «О России» звучит ведь именно как исповедь, где каждое слово – выстрадано, выплакано.

У Подгорного был своего рода «штаб» просоветски настроенных эмигрантов, которые ездили по всей Франции и агитировали за Советы, а некоторые и собирали сведения для советской разведки. И всё это замечательно маскировалось летним отдыхом. Женщины варили варенье из садовой вишни и дикой ежевики. Дети носились по цветущему разнотравью сельских лугов. Мужчины сидели за длинными деревянными столами, пили молодое вино, много смеялись, дурачились, много спорили, читали стихи, пели русские песни. И сено на хуторе пахло, как в России, и молоко от деревенских коров было сладким, как в русских дворянских усадьбах. И столько стихов там написано!

Но продолжим читать письмо Елены Люц к Юрию Софиеву:

«Мама по-прежнему в доме стариков, ей уже исполнилось 80 лет. У Ионовой один сын женился, другой отбывает военную службу. Сама ИONOVA очень сильно болеет, у неё воспаление солнечного сплетения. Всё это на нервной почве. Со мною Виктор тих и спокоен, но когда они остаются вдвоём, то он её точит и мучает, заставляя читать от строчки до строчки русские и французские газеты. Ко мне он её сильно ревнует, её мне очень жаль, совсем замученный, ободранный заяц.

На улицах Парижа останавливают всех людей, хоть мало-мальски не похожих на французов. Проверяют бумаги, и не стесняются мордобоем, а иногда и винтовок. Зрелище претовратительное. Одна из моих стансьерок из Марокко, там арабы очень агрессивны по отношению французов. *(Ещё бы! Они же французами захвачены, как колония. – Н. Ч.)* В школах арабский язык обязателен. Девчонка умнее и развитее других. Казалось бы, француженки по культуре должны бы быть намного выше, но на деле это не так. Пришлось встретиться с инженером (отцом одной из моих учениц), вот это человек высокой морали, и как-то даже не верится, что ещё есть такие. Он отказался от работы, защищая своего сослуживца, которому из-за нездоровья хотели отказать в работе.

Ну, вот, Юраш, и всё. Нужно работать. Пиши, ведь я жду твоих писем с большим нетерпением.

Целую крепко. Лена».

«19.10.61 г.

Дорогой Юрий, вечерами читаю Ладинского. Последнюю неделю Виктор пролежал дома – очередная простуда. Уехала, оставив его больным. ИONOVA возится со своим годовалым внуком, сильно постарела и ещё больше похудела. О том, что творится у нас, ты знаешь из газет. На выставке так и не удалось побывать, вырвалась только 4 октября, а так мечтала хотя бы один раз, но увидеть своих, посмотреть, послушать.

Ни маме, ни Виктору я не жалуясь и не лечусь, они оба считают меня очень сильной и вполне удовлетворённой как работой, так и сложившейся жизнью. Устаю я от любого усилия, а главное – это одиночество, и ни одного скольконибудь интересного человека... ...Виктор стал спокойнее, но потягивает винцо с большим удовольствием, оправдываясь в подкреплении физических сил. А в общем, дорогой товарищ, не нужно забывать, что мы уже здорово состарились, и что трудная жизнь начинает себя проявлять, и от себя не убежишь. И не прав ты думая, что мы с тобою, общими усилиями, сожгли в камине прошлое. Я ничего не сжигала и не собираюсь этого делать. 6, 10, 20 лет – всё равно сколько. Время остановилось с момента, когда захлопнулась калитка. И это было и будет сегодня, но, Юрий, как же можно было поступить по-другому?! И хорошо, что ты уехал, издали мил каждый уголок, а для нас это не так...

Продолжение письма 3 декабря. Я как старуха у разбитого корыта. 5 ноября меня спешно вызвали к маме. Было 2 часа дня, нашли её на полу, всю в синяках и крови. Погасла печка, и она, видимо, пролежала около семи часов без сознания, абсолютно одна, в ночной сорочке. Сейчас ей немного лучше, но ходить одна она уже не может...

Вот, Юраш, пишу тебе уже в её хибарке, работу бросила. Что будет дальше, не знаю. Мне кажется, ты бы согласился у неё спать в соседней комнате, но ты должен был бы всё равно работать. Тебе, конечно, сразу пришёл в голову естественный выход из положения, но, к сожалению, никому другому эта мысль не приходит в голову. *(Люц, видимо, намекает на Виктора, с которым живёт и который, по её мнению, крайний эгоист. – Н. Ч.)*

Ищу человека платного, чтобы мог с нею жить. Ищу и не могу найти. Без работы долго не проживёшь, отдать её в стариковский дом – это ускорить её смерть, да она и отказывается, наотрез, это сделать. Подожду до конца недели, если ничего не выйдет, буду искать работу на полдня. Может быть, найду массаж. Но – с болезнью сердца и дорогой в Париж и обратно, в St.-Remy, долго не протяну. Придётся с началом весны устроиваться на её участке... Видела на улице Баранова, на его приветствие не ответила, ну и дрянцо же. Для меня сейчас ясно, какой ты был окружён сволочью. Как только ты не догадывался об их двойной и гнусной работе?

На панихиде о Бунине Виктор с ним поздоровался. Не понимаю я такой “мягкости”.

Ну, вот видишь, лучше мне молчать, чем огорчать тебя моими горестями и неприятностями.

Конечно, ты мне опять скажешь, сама виновата. Ну, вот в том-то и дело, что по-другому, для себя, я не могу жить. А вот подумай, если бы и другие жили не только для себя – может быть, было бы легче жить?! Ты как думаешь?

Пока целую крепко, крепко. Береги себя, не уставай.

Твоя Лена».

«11.04.62 г.

Дорогой Юрий, давно – кажется, уже прошли годы – я тебе не писала. Трудно и сейчас. Сегодня три месяца со смерти мамы, а для меня будто вчера. Это была среда, как и сегодня... Поместила маму 5-го в госпиталь, и в ночь на 11-е, ровно в 1 час 5 минут ночи, мне сообщили по телефону, что мама умерла. До девяти

утра никто из моих сотрудниц ничего не знал. В 10 была в госпитале, в морге... При мне маму вытащили из ледника – трудно понять, увидеть картину на расстоянии... В субботу были похороны – в Медоне. Ни моральной, ни денежной помощи. Сейчас живу в каком-то кошмаре, залезла в долг. Виктор всё время болеет, занят всевозможной корреспонденцией, слушает радио, моё “безразличие” его раздражает. А у меня нет сил, нет охоты дышать, двигаться. Все и всё вокруг кажется грязным, отвратительным в своём эгоизме и эгоцентризме.

Вот если бы вокруг меня были твои маленькие друзья!»

(Юрия Софиева всё время посещали школьники, у которых он выступал и рассказывал о войне, о французском Сопротивлении, участником которого был. Школьники переписывали в тетрадки стихи Ю. Софиева, брали у него книги для чтения. Забегали и ребята-соседи по бараку на улице Сухомбаева, где он жил в то время. Девчонки приносили пирожки от родителей, помогали прибирать комнату, когда надо – вызывали врача, бегали за лекарствами. Постоянно навещали его и дома, и в больнице сотрудники Института зоологии, где он работал. Помогали кто чем мог. Эта сердечность и простота отношений особенно трогали Юрия Борисовича, т. к. на Западе он такого не видел. Встречались, конечно, и здесь разные отрицательные типы, но это не нарушало «благожелательности к людям и любви к вновь обретённой Родине». «Да и такой, моя Россия, / Ты всех краёв дороже мне!» – записывал он в дневнике.)

«Читала твоё письмо и плакала. Береги себя, Юрий, сейчас я уже старая, доживающая свою жизнь старуха, я сдала не только морально, но и физически. Писсарро говорит, что я похожа на мумию, и она права. Всё моё существо сковано смертью. Я хожу на кладбище и вижу маму такой, как она сейчас, вижу глаза, нос, рот. Прости, что пишу об этом, но ведь мне не с кем поделиться, и порою кажется, что я схожу с ума. Не буду писать о наших кошмарах – даже тебе – не надо об этом знать. Может, со временем притупится горе, нескоро это будет, чересчур много вокруг зла и ненависти.

Маму что-то мучило, начинала говорить и останавливалась, будто боясь проговориться. Раз начала рассказывать про ребёнка, которого выкрал лакей у какой-то принцессы, будто бы мой дед об этом знал. Но когда я спросила, как же мой дед об этом умалчивал, – она замолчала.

Она боялась, что я ей не прощу, но что я должна была ей простить, я так и не знаю.

Писала в Abondant, перерыла все её бумаги, но кроме нескольких незначительных писем ничего не нашла...

Ещё за несколько часов до смерти она была в полном сознании. Вот это, родной, меня и мучает – и ещё то, что умирала она среди чужих, безразличных людей. Я разрывалась между работой, болезнью Виктора и мамой, но для начальства и моих сотрудниц этого было мало, всякими подлостями, кляузами они старались меня выжить. Теперь всё вылилось наружу – и конечно, никто ни в чём не виноват. Но смотреть прямо в глаза им трудно, ухаживают, подхалимствуют. Я не собираюсь никому мстить, но жить среди них мне очень тяжело, а главное – противно до омерзения.

В июне экзамены моим ученицам, в августе или сентябре – отпуск, если справлюсь денежно, если не буду искать место заменяющей.

Это письмо разорви сейчас же, что бы ни случилось, его никто не должен читать. Я пишу об этом только тебе, и никто другой не должен об этом знать. Пишу спутано. Виктор за такое письмо меня бы выругал, а ты меня понимал, понимаешь и сейчас.

Целую крепко. Пиши. Лена».

Читая эти интимные письма, которые не предназначались для чужих глаз, я невольно испытывала смущение. Мне всё время казалось: они с укором глядят на меня, Елена и Юрий. Да простят меня их светлые души! Но теперь это не просто частные послания, «тайный роман» – это документы времени, документы любви и страданий, вручённые мне Судьбой. И ведь не зря Юрий Борисович их не разорвал...

«12. 05.1962 г. Из Алма-Аты в Медон.

Родная моя Лена!

Вернулся из экспедиции и нашёл Твоё горькое письмо. Всей душой разделяю с тобой Твоё горе. По личному опыту знаю, что значит – потерять близких. И впечатления эти остаются неизгладимыми на всю жизнь. И почему-то всегда – укором на совести!

Со смерти отца прошло почти 30 лет! А вот, зажмуриваешь глаза от жгучей боли. Жива для меня и смерть Ирины, так же как жива во мне и живая память об Ирине.

Не теряет своей остроты и трагедия наших отношений с матерью.

Это то, что при Твоём характере (глубоко и прочно переживать) будет Тебе ещё тяжелее, чем мне. Но, родная моя, ведь надо жить и “малодушно не бежать страданий” – так мне думалось после смерти Ирины. Конечно, сейчас так думать гораздо труднее.

Откровенно говоря, “надо жить” – звучит как-то неумно и неубедительно. Почему “надо”? Надо, чтобы человек хотел жить... вопреки всему.

Я всегда хотел жить, вопреки всем испытаниям, видимо, потому, что у меня был всегда избыток эгоистической, неистребимой жажды жизни.

И ещё я всегда жил надеждой. Ух, и сил было столько, что казалось нелепостью возможное их иссякание. А разговоры об одиночестве – были одним кокетством.

И вот, недавно, в экспедиции, возвращался я из большой экскурсии в наш лагерь. Один. Очень устал. Устал не здоровой физической усталостью, а тяжёлой усталостью больного надорванного сердца. Epuisement. Вокруг однообразная, сожжённая засухой пустыня. Монотонные холмы, почти не тронутые даже пылью. Пыльная ниточка дороги. Одинокая человеческая фигура. Ни единого человеческого голоса.

И как мне свойственно – зазвонит чья-нибудь строка (пожалуй, чаще всего Тютчева, Лермонтова, Блока, Ахматовой):

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги,
Друг мой милый, видишь ли меня...

И складывается своё собственное:

И синей тенью по степной дороге
Ложится одиночество моё...

Оно перестало быть кокетством – стало настоящим...

Вероятно, это самое трудное на последнем этапе наших дорог – наше одиночество. Вынужденное? Неразумное? Заслуженное? На это трудно ответить, да и не всё ли равно?

Однако мы оба обрекли себя на это тютчевское:

Быть до конца так страшно одиноку,
Как буду одинок в своём гробу...

Из Твоих писем я понял и ещё одну вещь – как я понимаю, очень трагическую для Тебя, – та работа, которой Ты жила и которая давала Тебе большое удовлетворение, как-то совсем опостылела для Тебя. И что ещё важнее, с моей точки зрения, те люди, с которыми Ты совместно выполняла эту работу – стали Тебе чужими и враждебными.

Ты знаешь, моя работа для хлеба насущного была бессмысленна, отбирала силы и время от работы творческой. Но работа эта коренным образом изменилась. Я получил возможность заниматься любимой творческой работой, которая даёт мне удовлетворение. Хуже, конечно, дело обстоит с литературой, но это особый и очень сложный вопрос. Ведь и в Париже мне удавалось заниматься ею только урывками – после стёкол.

(Ю. Софиев мыл стёкла больших магазинов, часто на большой высоте, с риском для жизни. Были случаи, когда мойщики стёкол срывались и погибали. Один раз сорвался и Юрий Борисович, но удачно зацепился за карниз и чудом спасся. – Н. Ч.).

Может быть, это и не есть моё основное? Но вот что для меня очевидно – при самом высоком и справедливом социальном устройстве, т. е. при той “счастливой жизни”, когда человек сможет удовлетворять все свои материальные и даже духовные запросы, по-прежнему будет играть необходимую и огромную роль личное счастье человека. Я всё-таки думаю, что ни социальные (вполне налаженные) отношения (коллектив), ни даже творческий труд не может дать человеку всю полноту ощущения радости бытия (назовём это счастьем), если он лишён личного (большого или маленького – по потребности) счастья – разделённой любви, удачной семейной жизни и т. д., если на него будут сыпаться жизненные неудачи, утрата любимых и близких, одинокая старость и т. д.

Когда я думаю о всяком счастье (почему-то всегда мне хочется брать это слово в кавычки), я всегда думаю о возможном для человека счастье, т. е. в какой-то мере всегда ущербном, ибо на каждом жизненном пути, прежде всего, лежат утраты. Уходят родные, любимые, близкие люди. Уходят безвозвратно, без надежды на отклик и встречу, и эти утраты навсегда остаются неизгладимыми.

Осенний запах вянущих цветов.
Всё кончено и всё непоправимо. –

Так раскрывает смерть неумолимо
Последний смысл простых и страшных слов...

И наконец:

Звено к звену плетётся цепь разлук,
Печальнейших разлук с самим собою.
Жизнь иссякающая, теплою
Выскальзывает медленно из рук...

Да и перспектива неотвратимого и полного собственного исчезновения, в особенности когда оно приближается, тоже не особенно веселит душу.

Есть люди, для меня почти безумные или, во всяком случае, непонятные, – мистики, верящие в личное бессмертие, даже в какое-то нелепейшее воплощение всех и вся во плоти.

Вероятно, это просто особая порода людей.

Какой-нибудь наш бравый агитатор, конечно, с лёгкостью и со знанием дела окрестил бы их невеждами и дураками, наподобие тому анекдотическому деятелю районного масштаба, о котором в Париже мне рассказывал наш консул А. Аврамов (в качестве анекдота, конечно). У церкви на скамеечке сидит старичок, академик Павлов, мимо проходит молодой деятель.

– Что, дед, пришёл помолиться Богу?

– Да вот, пришёл.

– Эх, и тёмный же ты человек, дед!

Шила в мешке не утаишь – великий физиолог был по своему душевному складу не чужд религиозности или просто в порядке эстетических восприятий – любил церковную службу. Но я не знаю, можно ли отыскать на свете такого дурака и невежду (вероятно, можно!), который бы назвал дураками и невеждами – Вл. Соловьёва, С. С. Булгакова, Н. А. Бердяева, В. В. Зенковского, Г. П. Федотова и иже с ними. Словом, весь сонм этих довольно блестящих профессоров, философов и учёных. Кроме Соловьёва, я всех их слишком хорошо знал, чтобы заподозрить в неискренности. И, однако, для людей моего склада, моего мироощущения или, скажем, для людей типа Милюкова, т. е. для людей, абсолютно лишённых мистического восприятия мира (причём эту “лишённость” я вовсе не рассматриваю, как некую ущербность!), вся эта религиозная и философская проповедь останется совершенно неубедительной и не в состоянии ни на йоту приблизить нас к их “истине”, заставить уверовать, что на реальнейших путях человеческой истории Христос “смертью смерть поправ”, и что весь смысл и конечная цель человеческой истории – всеобщее воскрешение мёртвых не на седьмом небе, а на нашей многострадальной планете Земля.

С младенческих лет ненасытно и жадно я всегда любил жизнь, иступлённо и восторженно любил природу, мир, и, вероятно, потому смерть всегда мне казалась безобразнейшим и немислимым явлением, глубоко оскорбительным для человека. Никакого величия в ней я не видел.

Конечно, меня нетрудно уличить в противоречии – не выделяя человека из природного мира, я, казалось, должен был бы принимать, прежде всего, великую целесообразность смерти, отмирание отдельной особи, при относительном

бессмертия рода, что целесообразнейшим образом обеспечивает эволюционное развитие жизненного процесса в целом. Бессмертие относительно, потому что и звёзды умирают, так что тень от чёрного её крыла неизбежно ложится на всё живущее.

Может быть, когда мы будем умирать в 150-200 лет, до конца исчерпав все и физические, и душевные силы, не умирать, а уходить из жизни, мирно и тихо засыпая, может быть, изменится и психология у людей, их мироощущение. А пока – грусть и горестные раздумья, как тень, сопутствуют всем нашим земным возможным радостям.

Ну, будет философствовать.

Родная моя, советовать Тебе ничего не могу. Ты знаешь – по свойству моего характера не люблю ни советовать, ни поучать. Так же, как не люблю выслушивать советы и поучения. В этом отношении Ты меня тоже знаешь.

Я мог бы Тебе сказать: “Плюнь на всё и приезжай! Может быть, вместе нам будет легче...” Но знаю, что Ты мне на это ответишь: “Не могу. И ты должен понять”.

У меня такое ощущение, что Ты всю жизнь находилась в цепях (как и все мы в какой-то мере – но это другое), добровольно на себя надетых. И помимо сознания нравственного долга была у тебя подавленность личной воли (Ты знаешь её причину), которая мешала разорвать и сбросить эти цепи. И эти путы вросли в Тебя, стали Тобой самой, почти Твоей сущностью. Я часто думаю, что:

Со щедростью слепой и неразумной
Развеяли мы счастье на ветру.
И есть ли смысл в той полуправде умной,
Что в поздний час пришлась нам ко двору?

Вот, моя родная Лена, крепко, крепко тебя обнимаю. Твой Юрий».

Это письмо Юрия Софиева я вынула из его дневника. В тот же день, 12 мая 1962 года, он записывает там строки Б. Пастернака:

С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой...

И посвящение Елене Люц:

За расточительность – в какой-то час
Мы платим поздней горькою заботой.
Наш долг по беспощаднейшему счёту
Жизнь одиночеством взымает с нас.

Судьба нам предназначила в удел
Мучительный, счастливый сон Эрота.
Я каждый миг сносил, как пчёлы, в соты,
Чтоб мёд воспоминаний загустил.

Не прошлое, а будущее вместе
 С тобой в те дни швырнули мы в камин.
 И ветер выл, гремел по крышам жестью,
 И плакал душам нашим на помин.

Со щедростью слепой и неразумной
 Развеяли два счастья на ветру.
 И есть ли смысл в той полуправде умной,
 Что в поздний час пришлась нам ко двору?
январь, 1962 г.

При публикации этого стихотворения посвящение «Елене» он снимет. Может, потому, что стихотворение вышло за рамки только частного переживания, а может, из-за Виктора Мамченко. Софиев не удержался и послал ему это стихотворение, и Виктор был в восторге, особенно понравились ему строки о «мёде воспоминаний».

И здесь же, рядом с этим стихотворением – цитата из Блока: «И над судьбою роковою / Звёздные ночи горят...» А ниже – снова стихи Елене. Похоже, виртуальный разговор с нею вызвал у поэта взрыв вдохновения.

Шумит вода, бурлящая в камнях.
 Сияют звёзды над моей палаткой.
 И голубая Вега в небесах
 Горит над жизнью и судьбою шаткой.

Ночные мысли медленно текут.
 Ночные мысли паутину ткут.
 Ночные мысли пробегают годы,
 Под этим тонким полотняным сводом.

Но вопреки всему опять пожаром
 Пылает жизнь. И в шуме поздних гроз
 Под нимбом золотых густых волос
 Волнующий овал, что я унёс
 В мою судьбу с полотен Ренуара.

Ты мне явилась, как благая весть
 О том, что радостью не оскудела
 Вот эта жизнь. Хоть с ней утрат не счесть,
 Хоть сердце бедами переболело.

Сияй, моя вечерняя звезда,
 Дарованная щедрою судьбою,
 Чтоб озарять последние года
 Большой, прекрасной радостью земною...

Эти стихи написаны ранее, в 1957 году, в одном из ущелий Киргизского Алатау, но включены в дневник 1962 года, – и тогда, и теперь Юрий Борисо-

вич, вероятно, думал о Елене, видел её «под нимбом золотых густых волос», будто сошедшей с полотен Ренуара. Жаль только, что к финалу стихотворение как бы выдохлось и закончилось проходной строчкой: «Большой прекрасной радостью земною...»

* * *

Но вернёмся к прозаической части письма, потому что тут необходимо сделать небольшое, но весьма важное отступление, которое касается взаимоотношений Юрия Софиева с Богом.

Неоднократно подчёркивает он в своих дневниках, что он «эпикурец», хотя «тысячи пут определяли мою “несвободу”, – пишет он, – и это мешало мне в жизни быть последовательным эпикурейцем – в смысле безграничной любви к жизни и миру».

Он не признавал религию, как слепую веру, которую относил к мистицизму, но вот запись в его дневнике о храмах, разрушенных варварски и беспощадно:

«Я человек, чуждый религии, но полный “исторических эмоций”, люблю и чувствую старину и историю своего народа, гордясь его творческим гением... У великого народа история не может начинаться с сегодняшнего дня, как бы велик этот день ни был. Все замечательные вещи в истории создавались людьми “своего времени”, и нельзя же уничтожить их на том основании, что их сознание не соответствует нашему...»

И другая запись:

«Смутно, но настойчиво веду я спор с “дьяволом-Мыслителем”, по-прежнему прихожу в воображении своём на балюстраду Notre-Dame de Paris или просто стою внизу, у ночного портала, а он, подперев голову ладонями, смотрит холодно и насмешливо на меня, на Париж, на мир, на историю – один из самых её “прогрессивных деятелей”. Ненависть моя к нему безмерна.

...XX век, пожалуй, выполнил, самоотверженно и героически, необходимую черновую работу истории, но нужно сознаться честно – часто марая не только руки, но и души, и не только грязью, но и кровью, тем самым разрушая человека...»

Юрий Борисович из верующей семьи. Глубоко верила его бабушка по материнской линии, Любовь Ивановна Родионова. Его мать, Лидия Николаевна, всё время повторяла ему в минуты смятений и юношеского нигилизма: «Бога, Бога всё же не забывай!» Она всячески оберегала своих детей от влияния брата, Николая, который увлёкся революционными идеями, читал Чернышевского, Добролюбова, а потом и Маркса, отрицал Бога, бросив дерзкий вызов семье. Он укоротил век своей матери, которая без памяти его любила и не пережила отречения сына. Николай успел заронить семена безбожия в душу племянника, подростка Юрия (Лев и Максимилиан были ещё малы, и они благополучно избежали общения с дядей-атеистом). И дьявольские семена дали кривые всходы. Но вначале всё же была вера. И это единоборство в нём – божественного и бесовского – продолжалось всю жизнь.

Юрий вспоминает о детских своих религиозных переживаниях. Экзальтация его доходила до такой степени, что появлялись видения – зримые образы ангелов, Богоматери, Христа. Когда он приходил в себя, то заливался слезами.

Ю. Софиев всячески защищал верующих людей, возмущался, если начинались гонения на них, уважал веру других, особенно умнейших людей эпохи: философов Бердяева и Булгакова, Матери Марии, с которыми его связывала сердечная дружба, сестры Иоанны (Ю. Н. Рейтлингер) – он восхищался её «живыми» иконами, которые видел в Медонской церкви св. Иоанна Воина. Не отрицал, что они, может быть, ближе к истине, чем он, но за собой оставлял право не предаваться мистицизму, слепой вере в божественные силы и оставаться материалистом хотя – в трагические моменты жизни или в минуты счастливого экстаза, уже взрослым, как и в детстве, видел и чувствовал присутствие небесных сил. Как бы ни сопротивлялся он, а был всё же человеком крещёным, был ограждён от мира тёмного – православным, святым крестом. И на детской фотографии, на груди трехлетнего Юрия крестик. Мальчик сидит на руках у бравого деда, потомка казачьего атамана Запорожской Сечи, Николая Родионова. Казаки всегда ведь были преданы вере и Отечеству. Дед в парадном военном мундире, и светится любовью, и прячет довольную улыбку в пышных усах.

По всему своему поведению, отношению к людям, к Природе, к миру земному и небесному был Юрий Борисович человек чистый, а значит – угодный Богу, значит – жил в Боге, по божеским законам. Ведь это главное, а не словесные декларации об этом. В нём была совесть, он был открыт покаянию. Он шёл путём просветления и очищения души. О том говорит всё его творчество и многие записи дневников, одна из которых такая: «Когда вынимают веру – остаётся пустота».

Он радостно отдавался дыханию Бога, разлитому в Природе. Он видел красоту в людях и трепетал перед нею. Он стыдился грехов и пытался их изживать. И, наконец, он любил, он сострадал. Он записал в дневнике:

«...Пытайся одиночество в пути
Преодолеть задумчивостью строгой.
Храни восторг. И числа очерти.
И если ты любил, ты выиграл в итоге,
Хотя и это унесёт дорога...»

Эти стихи, в сущности, пришли во сне, я с ними проснулся... Возвращение к Мыслителю на Notre-Dame, разные варианты всё той же темы – “поединок с самим собой” (*т. е. единоборство с дьяволом, преодоление дьявола в себе. – Н. Ч.*) и в момент рождения, и в момент смерти, и на протяжении всего пути. Преодоление только в любви, в наиболее просветлённые её моменты полной, взаимной отдачи...»

Всё это ещё раз подтверждает, что он был человеком верующим, хотя, быть может, и не осознавал этого, и не хотел с этим соглашаться. Останется бессмертным лучшее в нём, а всё прочее – слетит, как шелуха: его недолгое увлечение масонством, скептицизм по поводу «ветхого Адама» и аскетизма Христа, его бунтующее эпикурейство, эротические страсти, которые всегда сопутствуют поэтам, и потому спор поэтов с дьяволом особенно жесток. Но и в эросе он ищет божественное начало. Вот одна из записей в дневнике о некоей женщине: «Л. – неизъяснимо! Неизъяснимо по красоте переживаний...» Возможно, речь идёт снова о Елене Люц – Лене, «Л.»...

Христос никогда не отрицал жизни живой, полной, радостной, хоть некоторые считали (на Западе), что христианство – это вера в мёртвого Бога, снятого

с креста. В католичестве, может, и так, но только не в православии, особенно, у русских, слиянных с живой природой – с живыми солнцем, ветром, лесами, реками, небом. Всё это имело голос, облик, характер – душу. Во всём русский человек ощущал дыхание Бога: «Всякое дыхание да славит Господа...» Да и сам Юрий Борисович, с его «безграничной любовью к жизни и миру», в одном из своих стихотворений воскликнет:

«И мёртвых нет – одни живые!»

«04.08.62 г.

Дорогой мой Юрий, конечно, большое свинство не отвечать на письмо, да ещё тебе. Но о чём писать?! Настроение, вернее, моё состояние очень угнетённое, иногда я ловлю себя на полном безумии. На кладбище – ты, верно, не знаешь, где оно?! Если идти от озера в Медон, то оно по левую руку – с трёх сторон окружено лесом. Мамина могила совсем в глубине, за стеною леса. И вот, за этой стеной, уже второй раз я слышу какой-то мучительный, гортанный призыв. Это не похоже ни на крик птицы, ни человека, ни зверья. Ты знаешь, я не трусиха, но я начинаю дрожать и, не в состоянии остаться дольше, ухожу. И так многое. Я всё время двигаюсь, что-то делаю, чтобы не оставаться одной, со своими мыслями. Это может пройти, но может и обостриться – я это хорошо понимаю.

С деньгами начинаю как-то справляться, нужно было выплатить 325 000, осталось около 15 000. Мне никто не помог.

С декабря, ещё за месяц до маминой смерти, перестала есть на работе, это позволило экономии в 15 000 в месяц. За 8 месяцев 120 000, плюс мамина экономия 120 000, и остальные в Медоне, после отъезда Виктора на юг.

Отправила его 11 июля, с Еринькой и её внуком. Это было необходимо, т. к. его очень тянуло к вину...

...Возможно, что мы ещё и встретимся, бывают же в сказках ковры-самолёты, и великие небылицы, и волшебные путешествия, и злые колдуны – а кончается хорошо, и всё прошлое вспоминается, как кошмар...

...В сентябре я буду на юге, может быть, немного отдохну и наберусь сил. Мой доктор предлагает мне начать хлопотать об *avert du fravoiiil définitive*, его очень волнует состояние моего сердца, и в особенности как-то болтающаяся аорта. Вот видишь, мы и в этой области остаёмся друзьями. Дети меня тоже очень любят, а вот взрослые – чему-то завидуют, ревнуют и заискивают. Кажется мне, что моё отчуждение, моё горе и одиночество – всё это они принимают за гордыню. Виктор уже несколько раз повторял, что со мною нельзя найти общего языка. Прав он и другие, но пока что я, как большинство нервно расстроенных, прячусь в моё глубинное и не делаю усилий, чтобы выбраться. Ну вот, видишь, дорогой друг, отчего я не писала. Мы оба не любим жаловаться, не любим, когда нас жалеют. Ты очень редко говорил мне о своих неудачах. Помнишь, когда умерла Ирина! Вот тогда-то я тебя и поняла.

Целую крепко, крепко. Твоя Лена».

«11.10.62 г.

Дорогой мой Юрий, пишу тебе, не откладывая. Вернулась на работу 1-го, отдохнувшей. Все мои старые (прошлогодние) ученицы заменены новыми, 17-летними, работать с ними намного легче, т. к. школьная привычка к занятиям у

них ещё не потеряна, да и вообще, психология у теперешних лучше, все они из рабочей среды.

Отпуск провела в комнате с балконом на море. К сожалению, в соседней комнате жила Ионова со своим внуком двух лет. Ребёнок хороший, но воспитание его меня приводило в бешенство. Представь курицу с утёнком. Виктор дрессировал и её, и ребёнка, вначале начал и ко мне применять тот же тон. Ты по письму понял, в каком состоянии у меня были нервы, но, после моей резкой реакции, он изменил своё поведение.

Продолжаю письмо 20-го декабря.

Десятого хоронили Мореходова, а одиннадцатого мне нужно было идти в Медицинскую академию получать бронзовую медаль за услуги, оказанные детям и юношеству. Потом приём в 120 человек, коктейль, ужин. Ненужные, глупые разговоры, улыбки, светская чепуха. Пила шампанское, виски, и все думала о Мореходовой, которой сейчас, должно быть, до удушья тяжело и с которой нужно было бы беспрерывно быть рядом. На этой неделе тоже не смогла к ней пойти. Простуда, подарки девочкам на Рождество, налоговый инспектор, больной ребёнок у наших первенцев. Вот так и проходит жизнь – в какой-то вечной погоне за минутой отдыха или возможности спокойно написать письмо... Ел. Вл. Ионова превратилась в настоящую старуху, стала ворчливой, с Христом всё не может покончить, скучно с нею, да и жаль, т. к. она уж чересчур быстро сдаёт. Виктор спокойнее, но жалуется на боль в сердце, каждая новая смерть на него сильно действует, да и понятно, сколько могил на нашем кладбище наших соотечественников и близко знакомых...

По письмам к Виктору знаю о твоей жизни, о твоих успехах, о твоих болезнях, читаю с интересом, но ругаюсь, т. к. читать тебя наказание (*Имеется в виду его плохой почерк. – Н. Ч.*). Может быть, и ты не всегда можешь прочесть мною нацарапанное!?

Целую крепко, пиши, ведь нехорошо только отвечать, это не по-дружески. Твоя Лена».

«...Я ехала в поезде. По дороге, в темноте, очень красиво мелькали вдали освещённые замки. В Foire из окон вагона видела замечательные, старинные фасады. Между прочим, из Тараскона обратная дорога ещё холмистее, чем та, по которой мы когда-то ехали...

Шёл дождь, как тогда, с тобой... Пока добралась до Медона, была совсем мокрой... В почтовом ящике меня ждало извещение от налогового инспектора...

...Сегодня ходила на базар, прочистила умывальник, а сейчас беседую с тобой – хотя я всё время с тобой рядом, и если бы не твои стихи и странствия, то ты бы многое понял и не написал бы мне с такой лёгкостью, что в жизни для тебя они всего сильнее и дороже всего на свете. Правда, я предпочитаю правду, и знаю об этом уже давно. Ты любишь новые места, новые встречи, а я люблю не поверхностно ускользающие впечатления, мне всегда хочется слиться в одно, как бы внедриться, пережить, перечувствовать, и уже никогда не забыть.

Твоё понятие проще и легче моего, ты всегда найдёшь развлечение, одну встречу заменишь другой, а я “околдованно” буду вспоминать и дождь, и подземную речку, и пещеру Niaux, и всё, что было, что волновало, радовало и огорчало. Тяжело, Юрий, таким, как я... Ты скажешь: нельзя же из-за всего плакать,

а у себя – когда один, тогда можно, вот мне и нужно хотя бы несколько дней побыть одной, а потом я опять буду “спокойной” на людях, весёлой, и начну опять жить “чужим” горем. Ты скажешь, немецкая сентиментальность, баба с жиру бесится, – а на самом деле – когда сердце замирает, человек начинает метаться: то встаёт, то опять ложится, а если ему помочь, то он и успокоится... Но ты будешь в странствованиях, в охоте, в поисках новых ощущений, а я всё в том же безвыходном тупике. Ну, что, понял! Эх, и поэт же ты, где же твоё родство с “читателем” – ведь человек не доисторический грот, не мумия фараона. Ну, на сегодня довольно. Начинает темнеть...

Целую крепко. Лена».

Продолжение следует.

Надежда Михайловна Чернова – поэт, переводчик, прозаик. Автор двадцати книг. Кроме своего творчества, занимается ещё исследованием семейного архива поэта Ирины Кнорринг, её отца, писателя Н. Н. Кнорринга, и поэта Ю. Софиева. Издаёт их книги. Пишет о литературе русского зарубежья. Наиболее заметные работы: «Поговорим о несказанном», «Звёзды в аду», «Тебе», «Русские люди», «Птица, залетавшая к ангелам». Лауреат Международной литературной премии «Алаш», кавалер ордена «Курмет». Живёт в Алматы.